

The background of the cover is a dramatic illustration. It depicts a large, dark wooden treasure chest with metal bands and a skull-shaped lock, resting on a blue cloth. The chest is surrounded by heavy metal chains. In the foreground, a dark, ornate metal urn sits on the blue cloth, filled with white, crumpled fabric. In the background, a stone castle or fortress is visible, with some parts of it on fire, creating a warm, orange glow. The overall atmosphere is mysterious and adventurous.

НИНА
ЯГОЛЬНИЦЕР

СУНДУК
БЕЗУМНОГО
КУКОЛЬНИКА

Нина Ягольницер

Сундук безумного кукольника

«Автор»

2023

Ягольницер Н.

Сундук безумного кукольника / Н. Ягольницер — «Автор», 2023

На свете полно чудаков, которым тесно в своем времени. Один рвется в прошлое, другой – в будущее, и обоим кажется, что они родились не в срок. Так и Маргарет, вчерашняя школьница, самозабвенно играет в Средневековье. У нее все всерьез: клуб ролевигов, полный шкаф сюрко и барбетов, на скучных джинсах – нарисованный ручкой рыцарский герб, возле ноутбука – чернильница, а за дверью – боевой лук. В реальный мир Мэг возвращается все более неохотно: ведь там ее поджидает мать. Прагматичная судья Сольден не терпит увлечений дочери и стремится ее отрезвить, все ужесточая способы. После очередной ссоры взбешенная мать принудительно отправляет Мэг учиться на медсестру. Ненавистный колледж становится для Мэг каторгой, а практика в больнице – нескончаемым адом. До одного ночного дежурства, когда в больницу привозят израненного в ДТП пациента. Чертовски странного пациента, в котором Мэг неожиданно чувствует нечто неправдоподобно родное. Свой разрушенный рай.

© Ягольницер Н., 2023

© Автор, 2023

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.	38
-----------------------------------	----

Нина Ягольницер

Сундук безумного кукольника

Пролог

Изувеченное счастье

Уборщик Тони не выносил плачущих людей. Особенно мужчин. С женщинами было проще – это племя ревело почему зря, но и в слезах вело себя относительно прилично (вероятно, сказывалась практика). Плачущие же мужчины каменели в своем горе, становясь глухими ко всему миру, а порой впадали в бессмысленную болезненную ярость. И вечно порывались закурить. Они ломали сигареты трясущимися пальцами, они бросали окурки, давили подошвами зажигалки, словом, вели себя как идиоты. А хуже всего было то, что Тони прекрасно понимал: они плачут не от пустой сентиментальности. Им попросту плохо. Невыносимо плохо, и лезть к ним с муниципальными запретами так же нелепо, как читать у алтаря расписание автобусов.

Вот и сейчас на скамейке у самых дверей сидел, ссутулившись, долговязый тип и покрасневшими глазами смотрел в жерло пустой курительной трубки так, словно на ее дне слоем пепла лежала его собственная жизнь.

Тони вздохнул и двинулся к скамейке.

– Сэр, – смущенно пробурчал он, откашлялся и добавил строже, – сэр, в парке клиники курить нельзя, здесь гуляют пациенты.

В старинном тенистом дворике сейчас не было ни пациентов, ни даже кота Ирвинга, любимца Тони. К тому же предполагаемый нарушитель не делал никаких попыток закурить, однако поднял на уборщика усталый взгляд и безропотно сунул трубку в карман.

– Простите, – прогнусавил он с заметным гэльским акцентом.

Тони покачал головой, привычно чувствуя себя бестактной сволочью. Черт... Ревели бы себе в палатах, у медсестер под присмотром... Пробубнив что-то в духе "не буду вам мешать", он уже направился обратно к урне, где менял пакет, когда вслед ему раздался тот же гнусавый голос:

– Они не будут ее лечить, брат.

Уборщик остановился, мысленно застонав. Не надо. Вот только не надо сейчас переться назад и выслушивать этого типа. Плавал ведь, знает... черт. А сам уже оборачивался, готовый сказать какую-то чушь про современную медицину, про веру и необходимость быть терпеливым. И застыл, глядя в светло-зеленые глаза, полные холодного отчаяния. А тип криво усмехнулся и почти слово в слово процитировал поспешные мысли Тони:

– Врач говорит, нужно быть терпеливыми и положиться на природу. А лечить не надо, это не лечится. Очень утешает... В прошлый раз мне сказали то же самое, разве что положиться предлагали на милость Божию.

Тони неуклюже пошуршал так и не раскрытым пакетом для урны. Он уже размышлял, предложить типу воды или просто вежливо ретироваться, когда от дверей послышалось радостное "Папа!". Псих вскочил, разом растеряв свое мрачное ожесточение. Прямо к скамейке неслась девчушка лет пяти, размахивающая печеньем.

– Пап, смотри, что мне тетя Карен дала! Это она сама испекла! – тараторила девочка на бегу и вдруг резко остановилась в нескольких шагах от распахнувшего объятия отца.

– Нет, – строго отрезала она, поднимая печенье, будто судья красную карточку, – мама сказала, что меня брать на ручки нельзя. Ты заразишься и будешь очень страшно болеть! – она перевела взгляд на Тони и церемонно добавила, – здрасьте, сэр! Я Эйнсли!

А незадачливый курильщик на миг сжал дрожащие губы и мягко проговорил:

– Хорошо, я не буду тебя брать на ручки, обещаю. Поехали домой.

– Поехали, – Эйнсли откусила еще печенья и нахмурилась, – папа, а ты что, плачешь? Ну пап... – в голосе девочки прорезалась заботливая нотка, – ты чего? Не обижайся! Хочешь печенье?

– Да что ты! Ешь, ешь, милая. Я вовсе не плачу, – псих скованно улыбнулся, будто опасаясь, что на губах разойдутся невидимые швы, – просто, видно, цветет что-нибудь неподалеку...

– Аллергия, – со знанием дела напомнила малышка.

– Да, верно. Беги к машине, – псих забрал у дочери ярко-малиновый рюкзачок и повесил на мускулистое плечо, а уборщик вдруг заметил, как из-под рукава футболки проглянула вертикальная татуировка "Эйнсли", художественно обвитая листьями плюща. Псих же обернулся к Тони:

– Бывай, брат. Ты уж меня прости за болтовню, это я так, в сердцах, – и уборщик сконфуженно кивнул, снова ощущая, как покалывает в висках от немого отчаяния в прозрачно-зеленых глазах.

Эйнсли зашагала рядом с отцом к стоянке, на ходу жуя печенье и деловито лопоча:

– И еще надо купить для Лоли кошачью еду! Папа, а я тут видела кота! Его зовут Ирвинг, он толстый, и его можно гладить...

Тони задумчиво почесал переносицу и двинулся к служебному входу: донельзя захотелось кофе и закурить, хотя он бросил два года назад. А еще поневоле подумалось, что он давно обещал сводить дочь в парк аттракционов и все откладывал...

В кухоньке для персонала он застал Карен, старшую медсестру. Та только что вышла на обеденный перерыв и распаковывала коробку с домашней снэдью.

– Здорово, Тони. Перекусить хочешь? – добродушная и упитанная Карен всегда и всех подозревала в нездоровых привычках и норовила угостить "нормальной едой". Уже протягивая уборщику бутерброд, она нахмурилась, – ты чего кислый? Снова у матери давление?

Тони принял бутерброд и вздохнул:

– Да нет, слава Богу. Так... Девчушку только что видел. Из этих, ну... безнадежных. Отец аж стеклянный весь, бедняга. Говорит, лечить не берутся, бесполезно, мол. А по девочке и не скажешь, веселая такая, шустрая. Эйнсли звать.

А Карен вдруг тепло улыбнулась и оперлась локтями о стол:

– Резвушка, а? Она дочурка нашей Мэгги Шарп из травматологии. Такое дите славное – мне аж еще одного спиногрыза хочется, как с ней повоюю. Только куда мне?

Тони оторвался от еды:

– А что с ней? Совсем плохо дело, раз отцу ее даже трогать нельзя?

Карен усмехнулась и отхлебнула кофе:

– Да ветрянка у нее. Чушь на постном масле. Просто Дон в детстве ветрянкой не болел, а у взрослых это не игрушки.

Тони подавился ветчиной:

– Ветрянка? погоди, у меня оба ею болели, так весь день валялись и мороженое наворачивали за милую душу! А этот, здоровый, прямо подранком глядит, будто дитю завтра помирать! Он чего, совсем придуток?

Карен снова улыбнулась, и глаза ее слегка затуманились, словно ей вдруг вспомнился любимый в юности фильм.

– Уж таков Дон. Трясется над своими птенцами почище любой наседки. Ему куска пирога не всучишь – тут же детей глазами ищет, словно боится, что они уже с голода померли, пока он объедается. Сам на ржавый гвоздь напорется – и не заметит, а если кто из ребят чихнет – он тут же на стену лезет. Ничего, Мэгги его утешит.

Тони поморщился:

– А доктор Филипс утешить не мог? А ты? На него смотреть страшно.

– Дон мне не поверит, – спокойно пояснила Карен, – он и доктору не поверил. Он верит только Мэгги.

– Еще и подкаблучник, – ухмыльнулся Тони. Теперь, когда псих лишился драматического ореола, над его выходками уже тянуло позубоскалить.

А медсестра захлопнула коробку с завтраком и сухо ответила:

– У нас в деревне все их знают. Дон такое пережил – упаси тебя Боже то во сне увидеть. Он за свою семью в угольную топку войдет и не оглянется. Сам-то так сдюжишь?

Уборщик растерянно сунул в рот остаток бутерброда. Пробубнил что-то невнятное, но Карен уже вышла, не дожидаясь ответа.

Медсестра Карен Солс была подлинной королевой домоседов. Покинув родную Шотландию сразу после выпуска из школы, она осела в Девоншире и больше ни разу его не покидала. Деревушка Пайнвуд была ее домом, соседи и сотрудники – ее семьей, и никакое прибавление в этой семье не проходило без ведома и искреннего участия медсестры Солс.

Более того, Карен была замужем за деревенским полисменом, так что никто лучше нее не помнил, как в тесном мирке Пайнвуда появилась Мэгги Шарп и ее муж.

В тот день, почти двенадцать лет назад, на главную улицу деревушки въехал древний "додж", чадающий так, словно в багажнике у него лежала тлеющая крышка. Водительская дверца решительно распахнулась, и из машины показалась девица в мешковатом платье сиротского вида и с двумя длинными косами, будто Дороти, сбегавшая из страны Оз на угнанной колыхаге.

Прошагав к полисмену, рассеянному потягивающему кофе у киоска, она без предисловий спросила:

– Сэр, в Пайнвуде есть жилье на съём? Нам с мужем нужна квартира.

Офицер Солс был единственным стражем порядка в Пайнвуде и вел там ленивое существование диванного кота. Все, от мэра и до детсадовских карапузов, запросто называли его Эриком, а потому от обращения "сэр" Солс невольно поперхнулся. Выпрямился, запоздало надел на лицо строгое выражение и поглядел на девицу сверху вниз, невольно прикидывая, на сколько лет та старше его дочери-восьмиклассницы, что за дурак дал этой птахе водительские права, и какого извращенца она называет "мужем". А затем взглянул на машину: из "доджа" неловко выбирался долговязый тощий паренек.

Припадая на правую ногу, он подошел к девице, едва достающей ему до подбородка, и прижал ее к себе, будто пытался закрыть от автоматного дула.

Солс откашлялся: этот заморыш был кем угодно, только не похитителем. Он уже совсем собрался спросить, не нужна ли ребятишкам настоящая помощь, как вдруг наткнулся на взгляд паренька, и меж лопаток скользнула беглая рябь мурашек – с мальчишеского лица смотрели усталые затравленные глаза. В молодости Солс, успевший побывать в Кувейте, видел такие у освобожденных военнопленных...

Пайнвудский полисмен уже лет десять не встречал даже карманного вора, но в густом супе человеческих душ проварился до самых костей, а потому понял: этим странным полувзрослым детям сейчас нужна вовсе не полиция.

– Жилье найдется, мисс, – мягко кивнул он девочке, а та резковато отчеканила:

– Миссис Шарп, офицер.

Уже через полчаса дымящий "додж" припарковался у калитки вдовы викария, сдававшей крохотный флигель, и ошеломленный Солс смотрел, как девочка спокойно протянула хозяйке два паспорта, совершенно настоящее свидетельство о браке, и уверенно подписала договор об аренде.

Похоже, со своими бедами ребятишки собирались справляться сами.

В Пайнвуде много лет не случалось новых жильцов, а уж заезжие молодые пары вовсе никогда здесь не задерживались. Патриархальная деревушка была настолько стара и безмятежна, что даже куры здесь порой хворали меланхолией.

А потому вновь прибывшие вызвали волну интереса, скоро переросшего в жгучее любопытство. Шарпы были странноваты... Не лучшее качество для новоселов уединенного английского местечка.

Слишком юные для семейной жизни и практически нищие, супруги Шарп походили на сбежавших из дома школьников.

Заправляла в этой нелепой семье Маргарет. Худая и проворная, тыквенно-рыжая и пылающая энергией, в тихом Пайнвуде она походила на белку в библиотеке. По-беличьи же уверенная в себе, Маргарет была совершенно равнодушна к общественному мнению, не собиравшись никому ничего объяснять и с энтузиазмом принялась налаживать семейную жизнь.

Старожилам Маргарет не понравилась сразу же. Она была чужой, резкой и несимпатичной в своих драных джинсах и балахонах грубого сукна, с татуированным толкиновским орком на лопатке и неумоимо-острым языком.

И эта насквозь городская нахалка, чистопородная дочь стекла и бетона, ничуть не стыдилась своего явно ущербного мужа. Опекала его с безоглядной нежностью, свирепо огрызаясь на любое пренебрежительное слово, направленное на Дона. Тот же, глядя на разъяренную супругу, багровел измождённым лицом, хмурился и бормотал:

– Ну, что ты, сердце мое... Это же не со зла... Вы простите Мэг, пожалуйста, она не всерьез...

Однако, хоть Маргарет и не вызывала у односельчан симпатии, ее дурной характер был пайнвудцам понятен: злоехидная племянница, кузина или золовка имела почти у каждого. С Доном же все было куда сложнее, и вопрос "как тебе этот Шарп" много месяцев удерживал твердое лидерство в хит-параде светских бесед за пивом, в парикмахерской и под неторопливое кивание вязального крючка.

Этот мальчишка походил на альбом человеческих бедствий, без всякой системы собранный из разрозненных страниц, надерганных по случайно подвернувшимся книгам.

Он походил одновременно на юного ветерана из романов Ремарка, все еще ждавшего шальной пули; на победителя какого-то жестокого реалити-шоу, так и забытого на клочке земли среди океана; на партизана, так и не узнавшего, что война уже окончена; и на Оливера Твиста, едва успевшего вырасти, но уже надежно разочарованного в людях.

У Дона не было ни мобильного телефона, ни кредитки. Он заполошно вздрагивал при любом резком звуке, вплоть до заведенного двигателя или включенной кофе-машины. Не выносил пристального внимания, тут же отвечая тяжелым настороженным взглядом и явно борясь с желанием отвести глаза. Всерьез боялся газонокосилки и электропилы. И при этом же был почти суеверно законопослушен, даже совершенно пустую улицу пересекая лишь по пешеходному переходу и обращаясь к недоумевающему Эрику Солсу исключительно "сэр". Он не выносил зрелища выброшенной пищи, мучительно стискивая челюсти при виде переполненной урны у автобусной остановки. А вдобавок ко всему, Шарп говорил на невообразимой смеси английского и гэльского языков, там и сям вплетая уже совсем невразумительные слова, будто во рту у него был неудобно сидящий зубной протез.

Всех этих причуд с лихвой хватило бы любой новобрачной, чтоб уже через месяц стрести обломки воздушного замка в мусорное ведро, упаковать чемодан и очертя голову унести на край света. Однако душевными фортелями дело не ограничивалось: молодой Шарп был настолько слаб здоровьем, что Мэгги порой не спала по несколько ночей подряд, а за некоторыми препаратами специально ездила в соседний город.

Он страдал жестокой астмой, без конца мучился кишечными недугами и был подвержен частым мигреням. Собственно, именно в этом окружающие и усматривали корень его союза

с Маргарет: рыжая дуреха, несомненно, вышла замуж из жалости и была обречена умереть нянькой бесполезного Дона, поскольку такие доходяги обычно зловредно доживают до мафусаиловых лет, изводя всех кругом.

Но именно на этом сомнительном рубеже Маргарет неожиданно обрела молчаливую когорту сторонниц: немало женщин, хотя вслух осуждали дурацкий выбор городской вертопрашки, в недрах неисправимой женской души безмолвно понимали Мэг. Потому что этот юродивый парень любил ее...

Он любил по-своему, на собственный же увечный манер, именно так, как еще в юности мечталось каждой из трезвомыслящих и респектабельных пайнвудских дам. Не эгоцентричной привязанностью опекаемого малыша, не ревнивым обожанием зависимого неудачника, не слепым пристрастием душевнобольного. Дон любил Маргарет той древней, стержневой, изначальной любовью, какой не нужно никаких условий и ритуалов. Той самой, с какой родители всем телом ложатся на свое дитя, подставляя спину под рушащуюся кровлю дома, а собаки умирают у больничных коек хозяев.

И всего непонятней было, отчего любовь эта казалась такой очевидной. На людях Шарпы даже за руки никогда не брались. Но она окружала их, как приторный запах то ли молотого кофе, то ли варенья из поздней октябрьской айвы, одних заставляя морщиться, а других – оглядываться, сглатывая горькую голодную слюну. Неяркое, будничное волшебство, обратившее рыжую стерву и угрюмого инвалида в расколдованную принцессу и израненного рыцаря, неуязвимых в своей броне для общественного мнения.

Но, хоть любовь и не имеет цены, она всяко имеет расходы, и пайнвудцев немало занимал вопрос: на какие средства живут нигде не работающие Шарпы? А еще интересней было, когда этот загадочный денежный кран иссякнет, и как выкрутятся ребятишки после изгнания из своей страны Оз...

Ответ не заставил долго ломать голову и последовал всего полтора месяца спустя.

Солнечным утром на узкой улочке остановился неповоротливый, сияющий девственным гляncем бордовый джип, откуда фурией вылетела элегантная дама средних лет. Это была грозная миссис Сольден, глава плимутского суда и мать Маргарет.

Улица замерла, даже пчелы мудро притихли в палисадниках, и ирригаторы застенчиво подобрали вертящиеся водяные струи. Но Маргарет бестрепетно вышла на крыльцо и вздернула подбородок так, будто приглашала мать без рассусоливаний дать ей пощечину. Судья же отстранила дочь с дороги и вошла в дом.

Не более чем через полчаса судья Сольден снова показалась на крыльце, и заскучавшие было соседи обрадованно приникли к жалюзи. На сей раз судью сопровождал Дон, и почему-то сейчас не выглядел ни затравленным, ни нелепым. Судья Сольден же взялась за ручку автомобильной дверцы и отчеканила, глядя зятю в глаза:

– Эта история непозволительно затянулась, Шарп. Впрочем, Маргарет еще со средней школы мечтала изгадить свою жизнь, и вы воплотили ее мечту, будто добрый волшебник. Что ж, так тому и быть, каждый сам в ответе за свой идиотизм. Но имейте в виду: стоит вам забыть, где и с кем вы живете – и я вмешаюсь.

Тут судья понизила голос, и самые важные слова обыватели упустили:

– А главные испытания еще впереди, Шарп. Вы ведь ни черта не знаете о той жизни, в которую так отважно вляпались. И учтите, я прекрасно помню, кто вы такой и на что способны.

– Я всегда был честен с вами, – сухо отрезал Дон.

Сольден кивнула:

– Я это оценила, вы сами знаете. Но учтите: сбросить вас со сцены для меня намного легче, чем храпящего в подворотне бомжа. Мне достаточно поднять записи с весны – и вы окажетесь в лучшем случае в сумасшедшем доме, а в худшем – в тюрьме. Мэг возненавидит меня за это, но у нас с ней и до вас хватало разногласий. Так что не забывайте моих слов.

Однако Дон лишь спокойно кивнул:

– Я запомню, мэм.

Судья распахнула дверцу, обдав зятя ароматом дорогого кожаного салона и отменных духов, и, уже садясь на руль, усмехнулась:

– Кстати, полагаю, что даже в вашем застенке вас обучили прозаической традиции содержания своей семьи. Я привезла отчет вашего поверенного. Боюсь, в ближайшие два года на остатки ваших родовых капиталов не прокормить даже кошку.

При этих словах лицо Дона дрогнуло, на миг совершенно преображаясь и становясь жестким и совсем не мальчишеским:

– Поверьте, мэм, об этой традиции я знаю куда больше вашего, – не повышая голоса, отрезал он, – в моем... застенке за неусердие бывало кое-что похуже развода.

Судья Сольден несколько секунд смотрела Дону прямо в глаза, а потом холодно бросила:

– Вот и отлично. Надеюсь на вас.

Джип унесся, распугивая непривычных к такому обращению кур, а Дон вернулся в дом. Уже на завтра обитатели деревни поняли: Шарпы остаются, и у них действительно все всерьез.

Вместо арендованного флигеля молодожены вскоре купили пустующий коттедж. Строптивая Маргарет, оказавшаяся студенткой последнего курса медицинского колледжа, сдала выпускные экзамены и мигом нашла работу в клинике соседнего города. Юродивый Дон же поразил всех, устроившись в большое скотоводческое хозяйство "Шелби и сыновья".

Грегори Шелби, коренной пайнвудец, слишком сентиментальный для коммерсанта, всегда был хорошим парнем, но даже он не решился бы нанять инвалида. Однако после долгого приватного разговора с четой Шарп он, вздыхая и многозначительно качая головой, протянул Дону договор о найме.

Уже к вечеру весть об этом разлетелась по всему Пайнвуду, упав в болото поредевших сплетен, будто пригоршня живых дрожжей в чан с давленными ягодами...

И на следующий же день, когда Маргарет парковала у клиники свой престарелый "додж", к ней подошла медсестра Карен Солс: ближайшая соседка Шарпов и особа настолько неравнодушная к чужой беде, что даже пастор в ее присутствии невольно чувствовал себя бессердечным эгоистом.

Строго говоря, сплетницей Карен не была, но вся ее натура восставала против житейской несправедливости любого сорта. А потому сейчас она без раздумий бросилась в бой:

– Миссис Шарп! – окликнула Карен тем особым голосом, каким пациенту обычно намекают, что бутылка бренди на тумбочке выглядит огорчительно, – я так рада за вас, милая! Вот уже не знала, что такая юная девушка – уже дипломированная медсестра. Вы не хмурьтесь, я вас не задержу, сама тороплюсь на смену. Я только вот, что хотела сказать: вы с мистером Шарпом мне как родные, сами знаете. Я, как его гэльский акцент слышу – так на сердце разом теплеет, будто снова домой наведалься. И потому, милая, мне больно смотреть, как мистер Шарп, с его-то здоровьем, собирается на жизнь зарабатывать. Вы бы не спешили, Мэгги! У нас в клинике прекрасные условия для сотрудников, на попечении которых находятся... родственники с ограничениями. Вы можете без всякого стеснения обратиться к руководству и избавить нашего дорогого Дональда...

Она еще лепетала последние слова, стремительно увядающие под взглядом Маргарет, и даже успела заметить, как у рыжей ведьмы от ярости белеют крылья носа.

– Нет, – припечатала Мэг, и Карен почти физически ощутила, как это слово больно хлестнуло ее поперек лица. А Шарп также холодно отчеканила:

– Я вижу, миссис Солс, о моем муже уже судачат все доморощенные эксперты Пайнвуда. Пора утешить их изголодавшееся любопытство. Так вот: Дон не инвалид, не псих и не альфонс. Более того, он самый стойкий и отважный из всех людей, кого я когда-нибудь знала. А я дочь судьи, и это не пустые слова, мэм. Я познакомилась с Доном, когда была практиканткой в боль-

нице. И я впервые увидела тогда, что способен сделать с человеком груженный рефрижератор на темной трассе. Но Дон всего за два месяца собрал себя из обломков и живет дальше. Не бегают по психологам, не жалуется на шесть переломов и сотрясение мозга, не ждет сочувствия и привилегий. Дон – самое правильное, что случилось со мной в жизни. И нам не нужно ничьей помощи. Кстати, он Гордон, а не Дональд.

Она так и не повысила голоса. Набросила на худое плечо рюкзак и двинулась к дверям клиники, еще больше похожая на школьницу, только что надерзавшую несправедливому завучу и равнодушно готовую передать родителям дисциплинарное письмо.

А Карен молча смотрела ей вслед. Она прожила большую часть жизни на одной и той же улочке, листая судьбы соседей также, как медкарты пациентов: вдумчиво и добросовестно. И научилась самой главной житейской мудрости: безошибочно замечать ту грань, за которой откровенность становится исповедью, и наглухо закрывать рот, какие бы ошеломительные новости ни рвались с языка. Вот и сейчас она точно знала, что соседи отлично обойдутся телевизором...

Впрочем, позвольте вас заверить: вопреки расхожему заблуждению, подлинная сестра таланта – это чувство меры. Обладающий этой добродетелью способен творить чудеса, а Карен даже марокканский рас-эль-ханут умела добавить в мясной соус так, чтоб угодить и консервативному мужу, и помешанной на здоровой пище сестре, и двоим по-отрочески привередливым детям.

А потому, взвесив историю Шарпов на весах общественного эпатажа, медсестра Солс опылила Пайнвуд отменно дозированной правдой, отсеяв прочь ненужные подробности.

Вскоре в деревушке все были в курсе, что молодой Шарп вовсе не страдал сколько-нибудь оригинальными отклонениями. Его странности были следствием чудовищной аварии. После нелегкой реабилитации Дону было категорически предписано покинуть крупный город и поселиться в зеленой тишине провинции, куда молодожены и отправились сразу после свадьбы, отчасти по совету врача, но главным образом – чтоб укрыться от огнедышащего гнева матери Маргарет, не одобрявшей ее выбора.

Эта история была одновременно невероятно банальна, умеренно драматична и на свой лад трогательна. А всего прекрасней она была тем, что безупречно вписала все чудачества четы Шарп в рамки здравого смысла, мгновенно примирив Пайнвуд с новичками и наполнив отзывчивые души старожилов горячим сочувствием.

Больше на молодоженов никто не косился и не шептался за спиной. Сосед Шарпов похлопотал над двигателем "доджа", после чего тот перестал дымить. Вдова викария в ближайшее воскресенье принесла Мэгги ежевичный пирог ("мои-то дети далеко живут, такая радость снова кому-то гостинец испечь!"). А Эрик Солс заглянул к новому работодателю Дона (с которым еще ребенком гонял мяч на отцовском пустыре) и по-приятельски попросил дать парню шанс и не увольнять сразу же, поскольку тот "нам обоим в сыновья годится, жаль пацана".

Грегори Шелби вздохнул и откупорил джин: он и без Солса прекрасно все понимал. А еще не понаслышке знал, что без работы люди быстро хиреют и теряют всякую волю к жизни. И потому нанял Дона скорее в качестве терапии, пригрозив собственным работникам, чтоб "без всякого мне тут стенд-апа. Имейте совесть, парни, болен человек".

В ближайший же понедельник Шарп вышел на работу. А в обеденный перерыв к Шелби явился заведующий фуражом Питер Бэрроу и без обвиняков спросил:

– Грег, ты в какой богадельне раскопал этого Джеронимо¹?

Шелби снял очки и потер переносицу:

¹ Легендарный индейский вождь эпохи вторжения армии США на территории апачей

– Пит, тебе чего нейдет, а? – устало спросил он, – я ж на пальцах объяснил: Шарп едва с больничной койки. У него половина костей всмятку, а чего там в башке навыворот – поди знай. Ты что, не можешь приглядеть за парнем и работу попроще дать? Ему заняться чем-то...

– Приглядеть? – Питер сказал это таким тоном, что Шелби захотелось вытереть лицо от невидимого плевка, – да я убежался уже! Приглядеть... Знаешь, Грег, я тебе не бойскаут, за твоим психом гоняться!

Шелби слегка побледнел, приподнимаясь из-за стола, а Бэрроу утер необъятный лоб:

– Не знаю, чего там костоправы у пацана нафантазировали, а только он с утра с лошади не слзлит.

– Ты ему позволил сесть верхом? – перед глазами Шелби огненными письменами замелькали цифры. Спецстраховка для инвалида, штраф за нарушение техники безопасности, иск, который вчинит ему сановная теща Шарпа за угробленного зятя...

А Пит взмахнул руками, будто разгоняя тучу moskitov:

– А чего делать? Ходить ему трудно, хромает же. Прав водительских нет, да и на пикап косится так, словно тот заминирован. Зато Брауни к нему – как к родному, хотя паскудный же конь, с характером. А этот дурик штаны засучил, верхом взгромоздился – ни седла, ни стремян – и поскакал себе. Я только вслед поглядел.

Шелби рухнул обратно в кресло:

– А сейчас он где?

– А хрен его знает, – проворчал Пит, – может, скальп с кого снимает. Пойду что ль, погляжу...

С того памятного понедельника Шелби заметил, что опоздания прекратились, будто по волшебству. Работники спешили на ферму, как в кино, стремясь занять лучшие места на следующий выпуск сериала о Гордоне Шарпе.

Этот хромой неврастеник давал десятифутовый крюк, чтоб обойти трактор, мог уронить кофейный стакан от лязга автоматических ворот и не прикасался к мобильному телефону. Ужас Шарпа перед электричеством вообще забавлял рабочих донельзя. За глаза его одинаково беззлобно называли то "Маугли", то "квакер", а меж собой судачили, на каких выселках мира вырос этот дикарь.

Впрочем, причуды Дона, такие нелепые на первый взгляд, некоторым казались даже трогательными. Отчего-то приятно было, войдя в темный склад, включить свет и с затаенной улыбкой смотреть, как Шарп вскидывает голову и смотрит на пыльные люминесцентные лампы, помаргивающие дрянным синеватым светом, а обычное напряженно-растерянное выражение глаз на миг сменяется восхищенным изумлением ребенка, впервые оказавшегося на рождественской ярмарке.

Или налить ему мерзкого растворимого кофе, который он отчего-то обожал, и наблюдать, как с первым глотком по лицу Дона разливается такое искреннее упоение, что даже простецкий запах дешевой бурды отчего-то делается аппетитным и домашним.

И этот же невообразимый Шарп без седла ездил на самых норовистых конях, которых сам же умел подковать с ювелирным мастерством, был напрочь лишен брезгливости, с одинаковой сноровкой брался за плотницкий топор, вилы и кирку, а также категорически не понимал термина "рабочий день". Он приходил на ферму еще до рассвета, несказанно радуя скучающего ночного сторожа, пил с ним неизменный кофе и отправлялся в стойла, оставаясь там, пока тот же ночной сторож не начинал бухтеть у него за спиной, звеня ключами.

К собственной физической чахлости Шарп относился с поразительным безразличием, будто к размеру обуви. Он не принимал помощи, выходные брал только по настоянию Мэгги, а в дурную погоду лишь опасался, не мерзнет ли в стойлах молодняк.

Мучительно кашляя, бледнея от дурноты и то и дело нашаривая в карманах аптечные коробочки, Шарп обихаживал скот с усердием и нежностью опытной бонны. Он первый указывал на едва заметные глазу недомогания у животных, неуловимым чутьем понимал причины хандры или агрессии, часто ставя абсолютно ненаучный и абсолютно же верный диагноз раньше ветеринара. Он давал клички новорожденным телятам и ворковал с ними, будто детсадовский воспитатель. Шарп по-прежнему был неразговорчив, но многие слышали, как за работой он низким мелодичным голосом напевает песни на смутно понятном языке, тут же умолкая, стоило ему заметить чужое присутствие.

Он терпеть не мог разговоров о своем прошлом, и даже на вопрос, где провел детство, односложно отвечал: "В Шотландии", будто Шотландия эта находилась на другой планете, и в рассказы о ней все равно никто бы не поверил.

Время шло, а Шарпы все прочнее обживались в деревушке. Более того, Маргарет, не особо мешкая, родила подряд двоих сыновей, а через несколько лет – дочь. Коллеги многодетной матери судачили, что рыжая Мэгги станет делать со своей оравой, овдовев. Но Дон, похоже, передумал помирать, поскольку заметно окреп здоровьем, лишь на всякий случай держа в кармане полузабытый и, вероятно, просроченный ингалятор.

Разумеется, никому бы и в голову не пришло задать Дону столь бестактный вопрос, но, похоже, молодой Шарп судился с кем-то из-за своих увечий и выиграл процесс. Соседи видели, как к нему то и дело приезжал расфранченный тип крючкотворской наружности, и после очередного его визита супруги вдруг основательно отремонтировали свой ветхий домишко, превратив его в уютную усадьбу, и всей семьей укатили куда-то на целый месяц – не иначе, на материк.

Мэгги порой разговаривала с матерью по Скайпу, безмятежно улыбаясь в ответ на неизменные нотации и гордо поднося к глазку камеры детей.

Дон же к тридцати годам приобрел твердую репутацию отличного скотовода, добросердечного парня и неисправимого чудака. Он стал крепким сельским работягой с железным здоровьем, давно забыв об астме и желудочных болях. Был по-прежнему немногословен, хотя никогда никому не отказывал в помощи. Говорил на обычном английском языке, лишь иногда там и сям вклинивая гэльские слова. Все также работал у Шелби, где успел стать помощником управляющего, но все равно напевал песни телятам и по-приятельски уважительно беседовал с огромными племенными быками, которым пересказывал утренние новости и сообщал об изменениях на бирже.

Он стал улыбчив и приветлив. Давно обзавелся собственной газонокосилкой, сдружился со всей округой, ловко водил здоровенный внедорожник, питал все то же пристрастие к дрянному растворимому кофе, увлеченно копался в моторе трактора и фанатически обожал своих детей.

Прекрасный муж. Прекрасный отец. Мэгги – умница. Что за чудесная семья... Об этом вам сказал бы в Пайнвуде кто угодно.

И лишь медсестра Карен порой задумывалась, так ли прост Дон Шарп, как всем кажется. Нет, меж соседями все было по-прежнему. Просто случился один эпизод... Пустяк, вроде страстицы со страшной картинкой, которую поспешно захлопываешь, толком не разглядев, а она все равно поневоле приходит на ум...

В тот вечер Карен возвращалась с дежурства на автобусе. Войдя в свой палисадник, она услышала за живой изгородью голос Гордона и направилась к плотной стене зелени, чтоб по-соседски поздороваться. Однако у самой изгороди Карен замедлила шаг и невольно затаила дыхание: Дон с кем-то разговаривал по-гэльски, вкрапляя местами невразумительные слова. С кем-то явно чужим...

– ...С предателем, – услышала она обрывок фразы, – а ведь с той самой весны вы не голодали! Не хоронили детей!

– Ты чужой здесь! – огрызнулся собеседник, – не схватись ты тогда за арбалет, сейчас растил бы своих детей дома!

– Не схватись я за арбалет, мы все были бы уже мертвы, – сухо отрезал Дон.

Повисла долгая звенящая тишина, а потом незнакомый голос устало промолвил:

– Твои дети вправе знать, кто ты такой.

– Это и не все взрослые поймут, – в голосе Дона звякнула горечь, – всему свой черед. Останешься до завтра? Мэг будет рада.

– Нет, – вздохнул гость, – мне по темноте сподручней, не так чужие глаза царапают. Прощай, Рысак.

Они о чем-то еще говорили, но Карен уже пятилась назад от изгороди.

Они все уже были бы мертвы... И детей больше не хоронили... И она слишком давно не слышала гэльского, чтоб хорошо его понимать. Пустое...

Часть 1

Без сахара

Маргарет Сольден не была рождена для счастья. И вовсе не потому, что была какой-то особенной. Просто никто не должен сразу рождаться для того, что полагается заслужить.

Это еще в детстве пространно разъяснила ей мать. А по части долга к Эмили Сольден стоило прислушаться: юрист по профессии и законник по душевной сути, она всю жизнь посвятила решению вопроса, кто что должен делать, а чего не должен. Рождаться же, по мнению судьи Сольден, полагалось для совершенно конкретных целей: долг, порядок, польза. И зыбкое понятие счастья было столь же ничтожно среди этих трех могучих столпов, как сигаретный дым среди колонн здания суда.

Сама Эмили, еще в университете приобретшая кличку Цербер, неукоснительно следовала своим принципам, без колебаний вычеркивая из собственной жизни все, что не служило долгу, нарушало порядок или не приносило пользы: туфли красного цвета, встречи выпускников, простые углеводы и современное кино.

Судья Сольден не носила никаких моделей розовых очков, смотрела на мир с ледяным практицизмом и, даже вынося приговор, учитывала, где от человека будет больше толка – на свободе или на тюремном производстве. Она была не склонна к компромиссам, бесстрашна, неподкупна, не терпела неудачников, презирала самоубийц и видела свою жизненную цель в ежедневной борьбе за баланс и гармонию в обществе.

И только на одном фронте Эмили преследовали неудачи: воспитание единственной дочери.

Детство Маргарет было настолько безупречным, что доктор Спок охотно поставил бы ее фото на свою прикроватную тумбочку.

Родители заботились о ней с юридической щепетильностью, а бабушка – с артистическим вдохновением. Мэгги одевали как английскую интерьерную куклу, на четвертый день рождения свозили в Лондон, а убирать игрушки она умела так быстро и сноровисто, что пристыдила бы даже профессионального укладчика кафельной плитки. Мэгги любила брокколи и цветную капусту, снисходительно презирала карамель и еще в детском саду умела объяснить, что такое "гордость" и "предубеждение", и чем они различаются.

Словом, детские годы Мэгги были на редкость безмятежны, и омрачала их лишь одна печаль: непреходящий стыд за собственных родителей. И не вздумайте улыбаться, это вовсе не смешно. Как бы вы чувствовали себя, с самого малолетства слушая гордые рассказы других детей о по-настоящему интересных и даже поразительных профессиях их мам и пап?

Легко было бы вам сидеть между Кэти, чей отец работает поваром в настоящем китайском ресторане, и Оливером, у которого мать – гример в мюзик-холле? Меж тем как ваша

собственная родительница работает, стыдно сказать, ябедой, спасибо, что хоть не самой главной. Да-да! Мэгги сама слышала, что мама служит в прокуратуре "помощником обвинителя". А ведь она еще в детском саду видела таких подпевал, которые слушают, как кто-то говорит гадости про других, и угодливо кивают.

С отцом же все было еще более удручающе, поскольку он работал просто "следователем", а значит, все время за кем-то следовал и сам толком ничего не умел.

Однако Мэгги преданно любила своих непутевых родителей и на все вопросы о них лишь угрюмо отмалчивалась, прослав цацией и задавакой.

Она честно пыталась восстановить доброе имя своей семьи, вечерами расспрашивая родителей об их работе и надеясь найти в ней хоть что-то героическое, чем не грех было бы козырнуть перед сверстниками. Однако обычно словоохотливый отец лишь отшучивался, а однажды, когда Мэг была особенно настойчива, рассеянно потеревил дочь за косы и ответил с ранящей честностью:

– Тебе едва ли будет интересно слушать, как я роюсь в дерьме, детка. Но именно поэтому я и выбрал свою работу. В мире слишком много брезгливых людей. Кому-то нужно уметь вычищать из общества отбросы.

Пораженная этим откровением, Мэгги отправилась за разъяснениями к маме. Но Цербер Эмили видела дочь насквозь и никогда не уходила от прямого разговора. Ее слова были еще более неутешительными:

– Тебе неловко за нас, а, Мэг? Я знаю, от слова "прокуратура" морщится даже бабушкин кот. И да, мы невежливые, нетерпимые и бестактные люди, потому что отказываемся интеллигентно не замечать чужие грехи. Мы во все суем нос, подсматриваем и подслушиваем, а потом бежим ябедничать и требовать наказаний. В детском саду такого не прощают. Но тот, кого в детстве не отучили рвать чужие рисунки и ломать чужих кукол – того придется отучать от этого во взрослые годы. И пусть другим это не нравится – не вздумай стыдиться нашей работы. Делать то, от чего другие нос воротят – это, знаешь ли, не для слабаков.

Вот это было как раз в характере Мэг! Она сама терпеть не могла слабаков и с того дня твердо решила, что для гордости за родителей ей хватит и этого.

И она гордилась. Гордилась так старательно и упорно, что не заметила, как что-то произошло. Вкралось в образцовый мирок Мэг, где каждое событие было на своем месте, правильное и уместное, будто ряд лаковых туфель на полированной дубовой полке. Тихо затесалось меж бабушкиных уроков сольфеджио и квадратиков разрезной азбуки. Это в жизни Мэг появилась Гризельда, еще не замеченная, но уже готовая полностью определить ее дальнейшую судьбу.

Гризельда была хитра: она не стала напрямую вламываться к Мэгги, привлекая к себе лишнее внимание и рискуя быть тут же вышвырнутой вон. Она начала с родителей.

Отец все позже приходил вечерами с работы, и бабушка недовольно поджимала губы, но мама отчего-то совсем не сердилась. Они с отцом закрывались в его кабинете, долго о чем-то говорили, шурша бумагой, и Мэг казалось порой – они читают друг другу на ночь вслух какие-то взрослые и невероятно увлекательные сказки, раз даже бабушке не позволяют в эти минуты стучать в запертую дверь.

Впрочем, мама тоже где-то подолгу пропадала и возвращалась, вся пропахнув гадким запахом больницы. Несколько раз Мэг видела, что мамины глаза красны то ли от сигаретного дыма, то ли от недосыпа, потому что плакать Цербер Эмили не умела от природы.

Все это можно было терпеть, поскольку дурацкая родительская работа и так отнимала у них уйму времени, и Мэг давно привыкла. Да и бабушка со своим неутомимым стремлением вырастить из внучки настоящую леди не давала ей ни одной лишней минуты для бесполезных раздумий.

Но в школе готовили рождественский спектакль "Джейн Эйр", где Мэг была отведена пусть не главная, но все равно значимая роль: из-за ослепительно-рыжих кудрей Мэг играла

несчастную Элен Бернс, школьную подругу Джейн. И, хотя горемыка умерла от чахотки еще в первом акте, Мэг была единственной первоклассницей, допущенной к спектаклю, что в ее глазах автоматически делало роль почти что главной.

Она назубок выучила все шесть реплик, посвятила массу времени "голосу и жесту", как говорила учительница музыки, и всерьез собиралась блеснуть назло всем одноклассникам. Но тут выяснилась возмутительная деталь: родители не могли пойти на спектакль. Единственным зрителем Мэг Сольден должна была стать неизменная бабушка.

Такого Мэгги стерпеть никак не могла. Она закатила бабушке потрясающую, многоступенчатую, звонкую истерику в нескольких актах, где все было безупречно – голос, жест, погружение в роль и превосходное владение текстом. Она кричала обо всем сразу: что родителям на нее наплевать, что бабушке наплевать еще больше, что мир ужасен, жизнь не удалась, и она немедленно пойдет и умрет, совсем как Элен Бернс, чтоб всем до единого стало стыдно.

Бабушка не зря кое-что смыслила в настоящих леди, поскольку выдержала истерику Мэг не моргнув глазом. Затем отвела внучку в родительскую спальню и, указав на висящий на двери гардероба чехол, спокойно сообщила:

– Маргарет, мама и папа собирались пойти на спектакль. Мама даже приготовила вечернее платье. Но два часа назад им позвонили из больницы. Гризельда умерла утром. Ее не смогли спасти.

Мэгги замолчала, все еще всхлипывая и прерывисто дыша. Ей еще не было семи лет, но она уже знала, что такое "умерла". Однако неведомой Гризельде следовало как следует подумать, прежде чем с бухты-барахты умирать, портя другим жизнь и расстраивая все планы. А ведь из бабушкиных слов выходило, что именно с этой Гризельдой мама вечно просиживала в больнице, приходила грустная и даже не ездила с Мэг в зоопарк.

– Ну и что! – мстительно заявила она, – так ей, этой Гризельде, и надо!

И тут случилось страшное... Бабушка, которая даже голоса никогда не повышала, считая это неприличным, коротко замахнулась и ударила Мэг ладонью по губам. Не сильно, нет... И даже, по правде сказать, не больно... Но Мэг отшатнулась назад, будто от полновесной пощечины, ошеломленная, растерянная, впервые в жизни услышавшая, как стеклянные стенки ее уютного мирка хрустнули, пойдя ветвистыми трещинами.

А бабушка, просившая прощения, даже когда ей наступали на ногу, и не думала извиняться. Она взяла внучку за подбородок и очень тихо проговорила:

– Не смей. Никогда не смей так говорить. Злорадство само по себе отвратительно, но вкупе с эгоизмом оно гаже втрое.

Мэгги осторожно высвободила подбородок и нахмурилась: очень хотелось снова заревать, на сей раз еще и от обиды, но губы все еще слегка саднили, пробуждая совершенно новые чувства. Прежде никакие ее выкрутасы и запальчивые манифесты ничуть не задевали бабушку, неизменно утверждавшую, что "дети говорят много ерунды, и нечего из всего делать драму". Но тут ее словно посвятили в какую-то неизвестную прежде сторону жизни, где слова имели самое настоящее взрослое значение...

Бегло облизнув губы, она в последний раз шмыгнула носом и подняла на бабушку глаза:

– А кто такая Гризельда? И... почему она умерла? Она что, была очень-очень старая?

Бабушка вздохнула и вдруг отвела взгляд, чего никогда себе не позволяла. "Только винные прячут глаза", – любила она повторять. А сейчас посмотрела куда-то в угол, за шкаф, и устало пояснила:

– Гризельда была в беде. Ей было всего пятнадцать, и она была очень больна. Но она была одним из самых отважных людей, о ком я слышала. Господи, Мэгги, ты не представляешь, что способен вынести человек...

Мэг поежилась:

– Ее кто-то сильно обидел? Или сильно побил? Это были преступники, да?

Она ведь уже слышала, что мама добивалась обвинения для каких-то "преступников", которые творили всякие мерзости, обижали других и думали, что им все можно.

Но бабушка покусала губы и снова посмотрела на Мэгги:

– Намного хуже. Преступника можно найти и наказать. А над Гризельдой, похоже, издевалась ее собственная семья. Но она до последней минуты твердила, что хочет вернуться к ним. Что они ее ждут. И что она никогда их не предаст. Нет ничего более несправедливого, чем стать жертвой тех, кого любишь.

Бабушка запнулась и погладила Мэгги по уже заплетенным волосам:

– Давай собираться, детка, пора на спектакль.

Бабушка ни словом больше не обмолвилась об этом разговоре, но Мэгги шла на спектакль, уже не думая о "голосе и жесте". Незнакомая девочка с книжным именем Гризельда никак не шла из головы, и Мэгги вдруг поняла, что Элен Бернс чертовски на нее похожа. Такая же одинокая, больная, всеми обижаемая, но до самой смерти так и не струсившая.

Стоя за сценой перед большим зеркалом и морщась, когда ей прикалывали булавками чепец и туго завязывали фартук, Мэгги уже знала: сегодня она будет играть ее, Гризельду.

...Такие вечера дети запоминают на всю жизнь, даже во взрослые годы черпая в них вдохновение и задор. Рыжая первоклассница отыграла свою ничтожную роль так, что исполнительница самой Джен Эйр, статная ученица выпускного класса, вышла на финальный поклон с нею за руку. Бабушка в зале всхлипывала, а директор школы протянул Мэг букет фиалок.

Но Маргарет Сольден не запомнила свой первый триумф. Потому что следующие дни обвалились на него, будто сорвавшийся с петель кухонный шкаф, погребя под звоном, грохотом и пылью.

Она не запомнила ничего из того времени, кроме этого звона и грохота, когда весь привычный мир черепками сыпался вокруг, а она лишь недоуменно озиралась, подбирая осколки и бестолково пытаясь вновь собрать их в понятный узор.

Все началось с того, что бабушка срочно увезла Мэг к своей сестре в Дорсет. И там девочку принялись развлекать с таким фанатичным усердием, что та сразу заподозрила неладное. Не иначе, родители передумали покупать ей собаку...

Потом папа перестал отвечать на звонки, а мама сокрушенно твердила, что папа на задании сломал ногу и не может сейчас говорить. Будто папа кузнецик, и ему для телефонного разговора нужны ноги... Мэг терпеть не могла, когда ей врут и делают из нее безмозглую малявку. Но история с Гризельдой кое-чему научила ее, и теперь Мэг не спешила устраивать сцену.

Когда же Мэгги вернулась домой, папы там не было. Мама, желто-серая от усталости и пугающе подурневшая, вышла дочери навстречу и подхватила ее на руки, сжав до хруста в ребрах. А Мэг ощутила, что от мамы пахнет крепкими сигаретами и плохим кофе, который бабушка обычно называла "грошовой бурдой".

В тот же вечер Мэг выяснила, что слыть безмозглой малявкой не так уж плохо, да и вранье порой куда предпочтительней правды. Но Цербер Эмили по своему обыкновению не собиралась уваливать и напрямик объяснила дочери происходящее: папа ничего на задании не ломал. Он был тяжело ранен и только вчера очнулся в больнице. Все эти дни было неясно, выживет ли он. Но это не все. Папу обвиняют в должностном преступлении. Назначено внутреннее расследование.

Вероятно, стоило спросить, что такое "внутреннее расследование". А заодно и кто виноват. Но Мэг умела смотреть в корень дела. Поерзав в кресле, она исподлобья взглянула на мать:

– Что за задание было у папы?

Эмили не отвела глаз:

– У папы не было задания. Ты уже слышала от бабушки о Гризельде, верно? Уголовное дело так и не открыли. Гризельда умерла от пневмонии, не успев дать внятных показаний. Все время, проведенное ею в больнице, у нее был жар, и она постоянно бредила. Но папа все равно

решил выяснить, что с девочкой случилось, слишком странные вещи Гризельда говорила в бреду. Он взял отпуск на три дня, уехал и пропал. Все это время, что ты провела у тети Лесли, я не знала, где он, и что с ним. Папа вернулся почти через три недели, когда его самого уже объявили в розыск. Его нашли в шотландском полицейском участке, страшно избитого. Хуже того, врач сказал, что у папы алкогольная интоксикация. Это значит, что он много дней пил. При нем не было полицейского значка, а из табельного пистолета был расстрелян весь боезапас. Папа в кого-то стрелял, но совершенно ничего не помнит. А этого в полиции так просто не прощают.

Мама говорила сухим казенным тоном, каким обычно вела телефонные "разговоры по работе". Мэгги всегда казалось, что из этих разговоров ничего нельзя понять, таким скучным языком они скроены. А сейчас отчего-то понимала абсолютно все. Даже то, что хуже всего вышло со значком и пистолетом.

– Мам. Ты тоже думаешь, что папа совершил... ну это... преступление? – едва произнесла эти слова, Мэг вдруг ощутила, как от ужаса сжалось что-то внутри. Но мама лишь стиснула челюсти так, что на шее натянулись сухожилия:

– Нет, – отрезала Эмили, – но он совершил большую ошибку.

– Какую?

– Он поехал один. А в наши дни мир таков, что в одиночку можно защитить свою жизнь, свой дом, да что угодно – но только не свое доброе имя.

Эмили запнулась, прикусывая губу, и добавила тише, словно отвечая самой себе на какой-то давно одолевавший ее вопрос:

– Бабушка обожает говорить, что правду скрыть нельзя. Она как птица – всегда пролетит наружу. Только это чушь. Правда вовсе не птица. Она как бродячая кошка – то по углам жметесь, то вдруг под ноги кидается. А то цапнет исподтишка, да так, что потом замучаешься кровь останавливать.

Мэгги терпеть не могла старомодных бабушкиных иносказаний, но на сей раз забыла поморщиться и пробормотала:

– А почему папа поехал один? У него же есть напарник... или как это называется.

А теперь Цербер Эмили отвела глаза. Так всегда делают виноватые, бабушка говорила.

– Потому что мы плохо слушали Гризельду. Мы выбрали только то, что показалось нам важным. А нужно было выслушать до конца. Всегда нужно слушать до конца, как бы странно ни звучал рассказ. Иногда в нелепостях заключается суть. Мы не имели права забыть об этом. И если бы не отмахнулись от ее слов, сочтя признаком болезни – твой отец не полез бы черте куда совершенно один и не наворотил бы глупостей.

– Значит, папа все же виноват?

А Эмили вдруг вскинула голову так, словно Мэгги уронила ей на ногу супницу:

– Бездействие – самый простой способ никогда не быть виноватым, – отрезала она, – твой же отец был единственным, кто принял Гризельду всерьез. А потому – слала я нахрен всех, кто посмеет его винить. И тебе того же советую.

Мама никогда не ругалась при дочери "взрослыми словами", и это чертовски впечатлило Мэг. Она выбралась из кресла, залезла матери на колени и прошептала:

– Это не для слабаков, правда?

– Точно, – коротко кивнула Эмили.

И все снова стало хорошо на целых двадцать восемь дней. Двадцать восемь дней гордости и восторга, визитов в больницу к оправляющемуся от ран отцу, рисунков с супергероями и словами любви, домашнего печенья и вырезанных из цветной бумаги кроликов. Мэгги пробежала их, будто по летнему лугу, раскинув руки, зажмурившись в солнечных лучах и не заметив двадцать девятого дня, вдруг выросшего перед ней глухой кирпичной стеной.

В тот день Мэгги принеслась с урока рисования и влетела в дом, оскальзываясь на паркете в промокших от весенней слякоти ботинках. Мама стояла в кухне у окна и курила. Жадно, с присвистом, впиваясь в фильтр сигареты, как в клапан кислородной подушки.

Мэг оступилась, едва не упав, и тихо подошла к матери сзади:

– Мам... а где папа? Его же должны были выписать.

Эмили обернулась. Спокойно затушила сигарету в пепельнице и ответила:

– Папа с нами больше не живет.

Мэг хлопнула глазами и глупо переспросила:

– А... где он теперь живет?

Мать же опустила на корточки и пояснила, глядя Мэг прямо в глаза:

– Мы с папой разводимся.

Мэгги чуть не расхохоталась: мама никогда не умела толком шутить. Какая глупость! У них в школе было навалом народу с разведенными родителями, но это нормально, "сейчас такое время", как неодобрительно говорит бабушка. Однако ее родителям было плевать на "такое время", они никогда, ну вот просто никогда не ссорились, и уж точно не могли развестись.

А мама все смотрела Мэгги в глаза, и та ощутила вспыхнувшее раздражение:

– Если не хотите покупать собаку – так и скажи. А вот это я знаю, как называется. "Манипуляция", вот!

Эмили ничего не ответила, только медленно покачала головой, и тут Мэгги стало по-настоящему, до тошноты страшно:

– Мама... – начала она, и голос по-дурацки надломился, – но это же... зачем это? Папа просто еще не выздоровел, вот и говорит глупости. Ну вон, я, когда болела, говорила, что на потолке курица... Ты же не поверила.

Эмили же по-турецки села на пол и сухо промолвила, будто растолковывая ей правило арифметики:

– Папу уволили. Ему придется уехать.

– Ну так поедем с ним, – недоуменно пожала плечами Мэг.

– Нет, нам нельзя. Папа это делает ради нас, – с бесящей рассудительностью ответила мать.

– Но... – Мэг уже собиралась спорить дальше, когда Эмили вдруг повысила голос:

– Хватит, Маргарет! Твой отец все решил, и мне не удалось его переубедить. Однажды ты поймешь, обещаю. А сейчас просто поверь.

Но Мэгги не так-то просто было отвлечь. Как все дети, она назубок знала ужасный язык взрослых, которым те всё только портят, но все равно продолжают упрямо на нем говорить. "Однажды ты поймешь". "Лучше тебе не знать". "Это для твоего блага". Все эти фразы, будто туча навозных мух, разом загудели вокруг Мэгги, готовые ринуться на нее, и девочка широким взмахом рук разогнала их, завопив:

– Не надо мне врать!! Папа нас бросил, да?! Он предатель?!

А Эмили вдруг схватила со стола хрустальную пепельницу и со звоном швырнула на ковер, рывкнув:

– Да! Отец нас бросил! Потому что он рыцарь, поняла? Не тот, у кого титул, герб и приставка "сэр". Настоящий чертов рыцарь, без страха и упрека, и я не уверена, что когда-нибудь ему это прощу! Хватит, Маргарет!

И тут мама зарыдала... Впервые на памяти Мэг. Зарыдала не горько, не жалобно, не печально. Зло и яростно, на разрыв души, будто пальцами выдирая из живой плоти осколки битого стекла...

Через две недели в школе появился новый учитель, по очереди знакомившийся с учениками и каждого спрашивавший о профессии родителей.

На вопрос, кем работает ее отец, Мэг не стала отмалчиваться, как прежде. Встав из-за парты, она спокойно отрезала:

– Мой отец – рыцарь.

Учитель приподнял брови и с долей благоговения переспросил:

– Титулованный рыцарь? Это очень почетно, Мэгги.

Но Мэг лишь мотнула головой:

– Нет. Не тот, у кого герб и приставка "сэр". Это все для слабаков. А он настоящий рыцарь, без страха и упрека.

Класс полыхнул смешками, а позади раздался голос Оливера:

– Это не считается, Сольден, так что все ты врешь.

Мэгги же обернулась и, глядя Оливеру в глаза, четко произнесла:

– А слала я тебя нахрен.

...Это был грандиозный скандал. Гневное письмо от учителя она несла домой, словно грамоту о награде.

Полтора года Мэгги была в школе предметом постоянных насмешек и издевательских расспросов о ее папаше-рыцаре, который ни разу не явился ни на школьный концерт, ни на рождественскую ярмарку. Мэгги же лишь усмехалась в ответ: быть дочерью рыцаря – это не для слабаков.

На девятый день рождения мама подарила Мэгги компьютер. Впервые открыв на девственно-блестящем экране страницу Google, Мэг без колебаний ввела запрос: "Как стать рыцарем".

После множества скучных ссылок на правительственные сайты, она вдруг наткнулась на удивительные слова: "Клуб ролевых игр "Рыцари Вереска" ждет доблестных воинов и благородных дев. Глава клана сэр Родерик Острослов готов принять ваши заявки".

Ниже была анкета, явно состряпанная на школьном компьютере и украшенная веточками вереска, любовно нарисованными в Paint.

Закусив от волнения губу, Мэгги потеряла руки и раскрыла анкету во весь экран. В графе "Имя" она без колебаний отстучала: "Гризельда".

Нет ничего более правдивого, чем банальности. Как иначе они смогли бы всем осточертеть, если бы не подтверждали себя из века в век?

Вот и бабушка Маргарет Сольден очередной раз убедилась в справедливости расхожего афоризма: "Бойтесь своих желаний, они имеют свойство сбываться". А бабушка всегда мечтала, чтоб Мэгги стала настоящей леди. Могла ли она догадываться, как гротескно и нелепо сбудутся ее надежды...

Мэгги не пользовалась косметикой, не носила коротких юбок, не шаталась по клубам и не знакомилась с подозрительными мальчишками. Она знала по именам всех сотрудников городских библиотек, помнила наизусть тьму средневековых баллад, изучала гэльский язык на онлайн-курсах и увлеченно занималась рукоделием. Она не только не сквернословила, но даже не употребляла ненавистного бабушке юношеского жаргона. Только вот незадача: мечтая обо всем этом, бабушка забыла оговорить в своих грезах детали...

С годами все больше походившая на мать, Маргарет, такая же упрямая и не склонная к компромиссам, отчего-то оказалась непохожа на Эмили в главном: ей было равно наплевать на долг, пользу и порядок. Все, на чем стоял неколебимый мир ее матери, уже взлетевшей из прокурорского кабинета в кресло судьи, не имело для Мэгги ни малейшей ценности. Она была напрочь лишена амбиций, училась без тени интереса и отказывалась даже думать о таком явлении, как "призвание".

Пока судья Сольден требовала от дочери внятных формулировок, чего та хочет от жизни, Мэг пожимала плечами и утыкалась в рыцарские романы, окаменевшие от недостатка спроса в

городской библиотеке. По собственным выкройкам шила из джута и некрашеного льна грубо-колоритные наряды и обвешивала комнату репродукциями гравюр Дюрера. Эмили перебирала в интернете рекомендации приличных колледжей – а Мэг рисовала кирасы и знамена, тщательно выводя тонким пером детали гербов и вензелей. Эмили переписывалась с ректорами колледжей, преподавателями частных школ и психологами для подростков – а Мэг одевалась в мешковатые платья, заплетала косы, шнуровала потрепанные высокие ботинки и пропадала на слетах своей подозрительной компании, называвшей себя "ролевиками". К Эмили теперь обращались "ваша честь", а Мэг все чаще откликалась только на "Гризельду".

Она знала с полсотни средневековых рецептов, превосходно вышивала гладью, умела крючком связать барбетт, но едва ли помнила, какой век стоял за окном ее тесного уютного мирка.

И так продолжалось до того вечера, когда Маргарет, позавчера получившая не слишком впечатляющий аттестат, сидела на кухне, обшивая тесьмой подол зеленого сюрко, украшенного бабушкиной брошкой.

Эмили поставила на стол кофейную чашку и села напротив дочери.

– Отвлекись, – безапелляционно припечатала она, – Мэг, тебе скоро восемнадцать лет. И половину из них ты возишься с рухлядью с антикварной свалки и читаешь выдумки трехсотлетней давности. Отложи-ка в сторону перипетии личной жизни Айвенго и вкус Роланда в выборе исподнего. Ты хочешь изучать историю? Какого периода?

Мэг подняла глаза. Отложила сюрко и улыбнулась:

– Мам, я вовсе не собираюсь заниматься историей. Кому вообще придет в голову сделать это профессией? Период... Политические предпосылки... Ранее развитие уклада... Так и помереть можно.

– Тогда зачем все это? – Эмили кивнула на сюрко.

– Как зачем? – вспыхнула Мэг, – это же интересно. Это красота, романтика. Это мир, где была чистая вода и воздух, где все было по-настоящему, где люди верили в честь. Мир без акций, ипотеки, интернета, травли в соцсетях, топ-менеджмента и брендовой торговли. Это... да это же мечта!

– Мечта? – Цербер Эмили выплюнула это слово, как трущобный мат, – Маргарет, это был мир насилия и анархии, эпидемий и голода, нищеты и бесправия! Там пили паршивое вино вместо воды, потому что в колодце могла гнить крыса. Там крестьянку насиловали в поле, а потом убивали в целях контрацепции. Травля в соцсетях... Да гугеноты были бы счастливы, если бы Екатерина Медичи в Варфоломееву ночь ограничилась оскорбительным флэшмобом в Фейсбуке! А уж про систему средневековой ипотеки почитай в воспоминаниях Робина Локсли, чью семью просто вырезали вместе с половиной деревни! И что-то я не помню, чтоб на развалинах появился хоть один соцработник!

– Да!! – крикнула Мэг, вскакивая, – да!! Именно поэтому я не хочу изучать историю! Я не хочу всю жизнь обсасывать эволюцию человеческого скотства! Я хочу вот этой чертовой выдуманной сказки!! – она швырнула на стол сюрко, обрывая едва приметанную тесьму.

– Хватит! – судья Сольден оглушительно хлопнула по столу ладонью, – хватит сказок, Маргарет! Ты не спрячешься от жизни в маскарадном платье, поняла? Ты разомлела среди кружев и менестрелей, пока я роюсь в помоях людских душонок! Ты не умеешь водить машину, зато тебе звонят какие-то странные субъекты и заказывают оклейку оперения для стрел! Ты даже по-английски говоришь так, что тебя не понимают ни в булочной, ни в аптеке! Я устала слышать гэльские двустушия в ответ на вопрос, когда ты выйдешь из ванной! Вот что, милая. Я научу тебя реальной жизни. Если нужно, я пинком вышвырну тебя из твоей бархатно-карамельной скорлупки. Потому что я не вечная. Однажды тебе придется жрать этот мир без сахара. И я не позволю тебе выйти в него с полной башкой средневековых побасенок! До августа ты выберешь колледж, или его выберу я!

– Но мама...

– Разговор окончен!

Маргарет вылетела из кухни в слезах.

Несколько дней в квартире семьи Сольден царила натянутая тишина, прерываемая вежливыми короткими фразами. Потом острота ссоры сошла на нет. А первого августа, когда Мэг уже успела успокоиться и почти забыть о материнских угрозах, Эмили сразу после ужина положила перед дочерью буклет:

– Вот, Мэг, – спокойно проговорила она, – я предупреждала – ищи себе занятие. Ты не приняла мои слова всерьез. А потому я решила за тебя. Прежде я искала факультеты истории и искусств, но теперь вижу: тебя нужно держать поближе к твердой земле. Через месяц ты пойдешь в колледж на отделение медсестер. Ты отучишься от первого и до последнего дня. Ты пройдешь практику в больнице, не пропуская ни перевязок, ни ухода за лежачими. Ты узнаешь, что в жизни почем, даже если для меня это будут выброшенные деньги, а для тебя – потраченное время. Это все.

Последняя фраза прозвучала так, что Маргарет невольно ждала вслед за нею удара судьеского молотка. Но мать стояла у стола, холодно глядя ей в глаза и ожидая нового витка истерики.

Мэг молчала, бессмысленно глядя на буклет с изображением какой-то очкастой дуры в голубой униформе. Потом подняла взгляд.

– Как скажешь, – отрезала она.

Судью Сольден не обманывали ни слезы, ни клятвы, ни буйные припадки подсудимых: репертуар этого цирка она давно знала наизусть. А потому послушание дочери ее тоже нисколько не обмануло: Маргарет была слишком похожа на саму Эмили, чтоб пасовать перед принуждением.

И судья Сольден приготовилась. Она перестала засиживаться допоздна на работе, отказалась от двух тяготных процессов и начала проводить вечера в засаде на кухне меж чашкой и ноутбуком. Она пекла оладьи, рассеянно читала новости и следила за Мэг, ее уходами из дома и возвращениями, ее настроением, телефонными разговорами и аппетитом. Эмили знала: бунт непременно грянет.

Разумеется, судья не ошиблась: Цербер Эмили вообще не ошибалась с тех самых пор, как вышла замуж за отца Мэг. И дочь не разочаровала.

Раньше утопающая в эфире своих девичьих грез, будто принцесса на турнире, Маргарет фигурально сняла покрывало романтической Дамы Сердца, избавилась от пышных юбок и сама спустилась на ристалище. За первый семестр она начала курить, украсила правую лопатку изображением безобразной твари с мечом в когтистой руке, а в своей тусовке ненормальных любителей старины из "девы" стала "воительницей".

Но выходки дочери не смущали судью. Куда больше ее удивляло другое: Маргарет училась. Но это был не энтузиазм. Она училась с мрачным остервенелым упорством, которого не проявляла за все школьные годы. Она заваливала кухонный стол учебниками, ксерокопиями, мешаниной рукописных листов, а за ужином с нарочитым удовольствием бубнила вслух омерзительные подробности симптомов пищеварительных расстройств и некротических процессов, то и дело испытующе взглядывая на мать.

Сначала это озадачивало Эмили, потом начало... забавлять. Да-да. Никогда не отличавшаяся смешливостью судья Сольден стала с интересом следить за стараниями дочери шокировать ее.

Незаметно минул учебный год, а июньским днем Мэг прошагала на кухню и хлопнула перед матерью лист с гербом колледжа тем самым жестом, каким сама Эмили некогда хлопала на чужие столы ордера об обысках и арестах.

Судья спокойно взяла лист: тот сообщал, что Маргарет Сольден с отличием окончила первый курс.

Сухо кивнув, Эмили отложила документ и потянулась к неизменной кофейной чашке, кожей ощущая, как выжидающая тишина накаляется шквальной яростью.

Но Мэг стояла своей матери и также спокойно спросила:

– А где же "я тобой горжусь"? Разве не так говорят мамы, когда им приносят детсадовских пластилиновых зайцев, школьные вышивки и похвальные листы колледжей?

Судья Сольден подняла глаза:

– Да, Мэг, я горжусь. Горжусь твоей выдержкой. Однако поработай над тем, чтоб я гордилась и твоим здравым смыслом.

Маргарет нахмурилась:

– Ты назвала меня душой?

– Да, – хладнокровно кивнула Эмили, – потому что только дура будет пытаться поразить судью цитатами о содержимом кишечника. Милая, это содержимое мне показывают на цветных фотографиях по несколько раз в неделю. И еще много чего необычного. А если бы ты иногда думала не только о себе, то вспомнила бы, что твой отец был паршивым рыцарем, но чертовски хорошим следователем. И боже тебя упаси хоть раз столкнуться с некоторыми нашими прежними... подопечными. Так что рассказывай лучше свои саги консьержке: ее реакция тебя больше повеселит.

На шее Мэг проступили сухожилия, будто под кожей до звона натянулись струны. Она оперлась локтями о стол, глядя матери в глаза, и тихо отчеканила:

– Хорошо. Я придумаю что-нибудь поинтереснее.

Эмили снова кивнула:

– Отлично, действуй.

Война продолжалась. И Мэг была твердо настроена одержать в ней победу. Окончить чертов колледж, не потратив на него ни единого лишнего дня.

Ни единого прогула. Ни единого опоздания. Ни единой пересдачи. Ни единого задержанного доклада или исследовательской работы.

Педагоги умилялись прилежанию мисс Сольден и не уставали ставить ее в пример остальным студентам. Декан всерьез считал, что Маргарет нашла свое подлинное призвание, о чем не замедлил сообщить судье Сольден в суховато-одобрительном письме.

Эмили прочла письмо, усмехнулась и одним щелчком мышки отправила его в "корзину": она-то знала природу успехов дочери и ни на миг не позволяла себе заблуждений. Мэг стремилась разделаться с навязанным ей колледжем, швырнуть диплом матери в лицо, послать ее к черту и заняться собственными делами.

И судья знала: у нее получится. Ведь когда-то давно мать самой Эмили (утонченная преподавательница игры на фортепьяно) сообщила, что не даст ни гроша на юридический факультет, ибо не позволит дочери угробить свою жизнь на воров и убийц. Эмили пожала плечами и устроилась работать в приют для нелегальных иммигрантов. Полгода мать смотрела, как Эмили, возвращаясь с работы, хладнокровно вычесывает вшей и складывает в стиральную машину дурно пахнущие рубашки, но держалась. Однако две ночи в больнице у кровати дочери, до беспамятства избитой одним из подопечных, раскрошили упорство музыкантши в черепки.

У Эмили получилось. Получится и у Мэг.

У нее не получится. После двух с половиной лет непрерывной войны Мэг впервые почувствовала, что готова сдаться. А ведь она торжествовала, поступив на заключительный курс и уже видя, как вдали реют лучезарные знамена свободы, которые даже матери не по праву будет спустить.

Но пришла зима, и с ней начался ад: обязательная практика в больнице. Выбранная Мэг стратегия, столь успешно действовавшая все это время, оказалась тут совершенно бесполезна. Здесь мало было показного прилежания и упорной зубрежки, нарочитой пунктуальности и прочего студенческого арсенала, против которого беззащитны сердца педагогов. Здесь все вдруг стало всерьез, раз и навсегда обнажив перед Мэг подлинное лицо навязанной ей профессии.

Дежурства в клинике были ужасны. Особенно ночные. Иногда тягомотно-бесконечные, замершие в вязкой тишине, приглушенном свете коридоров, запахе дезинфекции и дешевого кофе. Иногда устало-хлопотливые, полные чьей-то боли, бессмысленных капризов и каменного отчаяния.

Практика стала для Мэгги настоящим откровением. Прежде она понятия не имела о том, как пылко и беззаветно она умеет ненавидеть. Но здесь, в клинике Святого Себастьяна, ненависть заиграла перед Мэгги совершенно новыми, неизвестными прежде гранями.

Маргарет ненавидела здесь всё: тускло-голубой блеск пола и унылую белизну стен, мерную пульсацию попискивающих приборов и глухое жужжание колесиков каталок, мертвенный свет энергосберегающих ламп и шелест занавесок в палатах, гулкие старинные лестницы и высокие стрельчатые окна.

Она ненавидела всех: медсестер, глядящих на нее свысока, врачей, вовсе ее не замечающих, уборщиц, ведущих себя так, будто только они здесь заняты делом, а прочие только шляются без толку и разводят грязь.

Она ненавидела свою работу, тяжелую, грязную, отвратительную, которую никто не ценил, и все подчеркивали, что сами заняты чем-то не в пример более нужным и ответственным.

Но больше всего в этом бело-голубом, холодно-стерильном аду она ненавидела пациентов. Нет, вовсе не за то, что они не запоминали ее имени. Не за то, что они порой отталкивающе выглядели и дурно пахли. Не за то, что они источали гадкие телесные жидкости, которые ей нужно было убирать, пока старшие медсестры нетерпеливо напоминали ей, что им мешает ее возня.

Она ненавидела этих людей за свою лопнувшую "карамельную скорлупку". За то, что разлюбила человеческое тело, глядя на его горестную, унижительную немощь.

Именно здесь, в постоперационном отделении она узнала, что имела в виду мать под словами "жрать эту жизнь без сахара". Здесь не было места ни сахару, ни кружевам, ни менестрелям. Реализм этой страшной сказки зашкаливал, как спидометр гоночного болида. Что бы ни управляло судьбами ее героев – оно было слепо и равнодушно. Мэг и прежде не была особо религиозна, но теперь окончательно уверилась: человечество совершенно одиноко, поскольку ни один высший разум не может быть так нелогичен, непоследователен и ребячески-жесток.

А хуже всего было то, что с началом практики Мэг потеряла последний осколок своего прежнего уклада: ненавистный матери клуб ролевиков "Рыцари Вереска". Нет, никто не гнал ее оттуда, и ее по-прежнему звали на слеты, бои и тематические "средневековые" вечеринки. Но любимый ею мирок больше не был прежним. Он потускнел, обесцветился, вытравился укусным реализмом ее нынешней жизни.

Мэг уже не могла, как прежде, забывать обо всем, погружаясь в перипетии сюжетов и затей, с любовной дотошностью продумываемых "Советом клана". Привычные маски, вросшие в лица друзей и казавшиеся ей живыми, вдруг будто обнажили швы, мазки краски и обмахрившиеся кромки папье-маше. И уже не получалось забыть, что старейшина их клана, благородный Родерик Острослов, которого она помнила еще четырнадцатилетним мальчишкой – на самом деле Рори Бейтс, у которого серьезно болен отец, а Рори разрывается на двух работах.

Целительница Амариле... ну, Элли Хоббс... ходит в клуб, потому что у ее матери многолетняя депрессия после смерти мужа. Элли водила ее к десятку психиатров, но все без толку.

Шута Гинсара, развеселого злоязыкого остряка, в жизни зовут Майк. Он самый младший в "Рыцарях". Он худой, сутулый, носит неказистые очки, и его гнобят в школе. Только надевая шутовскую маску, Гинсар одновременно распрямляет спину и искрометный нрав, никого не боясь и рассыпая шуточки, как рис на свадьбе.

Милые... Такие важные, близкие, любимые... Ненастоящие. Потому что лучница Гризельда, обрядившись в ненавистную униформу медсестры, вскоре поняла: все они платят за их общий "сахар" драгоценным временем, и однажды платить станет нечем. Тогда они сбросят износившиеся маски, сунут бутафорские тряпки в рюкзаки и разойдутся навсегда по своим реальным обессахаренным мирам.

Оставался только дом. Респектабельная квартира в дорогом районе. Респектабельная мать в дорогих очках. Респектабельная жизнь, за которую Мэг не дала бы и пенни. Туда идти тоже не хотелось, но больше идти было некуда: подруг у Мэгги было мало, да и воспитанная в сольденовских представлениях о гордости, она ни у кого не хотела искать сочувствия.

—...Маргарет!

Этот оклик ворвался в сонную тишину, и Мэг вздрогнула, едва не уронив кофейный стаканчик: на пороге сестринской стояла Эльза — одна из самых старших наставниц Мэг, обладательница глаз Греты Гарбо и манер заполошной курицы. Эльза сжимала в руках объемистый пакет.

— Мэгги! — застрекотала она, — Мэгги, бегом сюда!! Вот, держи! Беднягу одного привезли прямиком с ДТП, боже упаси во сне такое увидеть! Его сразу на стол, доктор Розен вторую бригаду запросил. Меня там ждут, сестер на смене мало! Ты вещи его зарегистрируй. Он без сознания, имени не знаем, но плох совсем. Внутри бирка, время поступления. Давай только, шустро!

Эльза унеслась, оставив ошеломленную практикантку посреди сестринской с пакетом в руках.

Мэгги машинально задержала дыхание: она не раз участвовала в процедуре регистрации и уже знала, какие омерзительные сюрпризы случаются в таких вот пакетах из приемного отделения. Так, сначала перчатки и маску...

Расстелив на столе одноразовую простыню, Мэг осторожно раскрыла пакет, полный окровавленного тряпья. Как там Эльза сказала? Не дай бог такое во сне увидеть? Практикантка закусил губу, поддержнула выше перчатки и начала раскладывать вещи в ряд.

Куртка. До неприличия изношенная и грязная настолько, словно обладатель ее заснул в канаве. Карманы пусты.

Обтрепанная льняная рубашка — до странности дорогая вещь для такого оборванца.

Короткие брюки... Мэг нахмурилась. Эти брюки кому угодно показались бы нелепыми. Но ей был знаком этот костюм. Такие короткие грубые штаны чуть ниже колен с толстыми серыми чулками и тяжелыми ботинками носили парни из их клуба, имевшие статус "воинов". Рубашка со шнуровкой на груди, куртка прямого покроя, широкий кожаный пояс, прошитый толстой дратвой — все как надо, только колпака-шаперона с наплечной пелериной не хватает. Неужели, свой?..

Нет, это не "Рыцарь Вереска", у них все попроще. Эти вещи были грязны, но сшиты умело и очень точно — так шьют только настоящие реконструкторы. Мэг видела подобную одежду в интернет-магазинах: она завораживала достоверностью и стоила сумасшедших денег. Впрочем, многие ролевики покупали списанные костюмы из театров. Где же парень шатался в таком виде? И где его обуть?

Пожитки бедняги уже не казались Мэг отвратительными. Расправляя грязные складки, она лихорадочно пыталась сообразить, где в окрестностях недавно проходили встречи клубов. Когда-то она была живым справочником этих слетов, помнила все даты, турниры, победы и союзы. Как же она все запустила с этой чертовой клиникой... Господи, сколько крови...

...Уже был заполнен бланк, вещи упакованы, да и дежурство двигалось к вожделенному концу, а Мэг стояла у окна, глядя в медленно выцветающую ночь, и ждала. Впервые ждала новостей из операционной, хотя прежде лишь тоскливо следила за миганием электронных часов, даже не задумываясь о драмах, разворачивавшихся там, за ярко освещенными двойными дверями.

Нет, она вовсе не была черствой. Но нелюбимая профессия затягивала душу тонкой, гадкой плесенью равнодушия, лишавшей пациентов их реальных лиц. И люди, боровшиеся за жизнь на холодных операционных столах, будто вовсе не казались ей живыми, сливаясь в безликую череду регистрационных номеров.

Но сегодня что-то было иначе. Та ненавистная матери сущность Мэгги, тот оберегаемый ею ненастоящий мирок сжался сейчас до безымянного искаленного парня. Эти дурацкие маскарадные тряпки, изгвазданные такой настоящей кровью, лоб в лоб столкнули обе половины ее жизни. И Мэг было невыносимо страшно, что парень умрет. Такой же глупый мечтатель, такой же вдохновенный эскапист, как она сама, сгинет пошло и прозаично, раздавленный случайным автомобилем на темной проселочной трассе. И реальный мир победит... Окончательно докажет, что Мэг – обыкновенная бесхребетная размазня, ни на что толком не годная, а потому прячущаяся в пряничном домике своих выдумок, во всем обвиняя мать. Придурок... Куда его понесло в такое время?

Мэг всхлипнула и снова посмотрела на часы.

Она так и не заснула после того дежурства.

Сегодня Мэг впервые спешила в клинику. Впервые вылетела из дома, на ходу натягивая куртку и держа в зубах транспортную карточку. Впервые пожалела, что сторонилась коллег, ни с кем не сошлась и сейчас даже не может просто позвонить одной из дежурных сестер и спросить, жив ли ночной пациент.

Она уже неслась по гулкой лестнице, когда в дверях наверху показался доктор Розен, суетливый веснушчатый хохотун, больше похожий на веселого кондитера, чем на хирурга.

– Мисс Сольден, – окликнул он, и Мэг ощутила укол тревоги: Розен ее недолюбливал. Он никогда прежде не обращался к ней по имени, суховато-иронично называя "сестра" и не особо скрывая скепсис. Однако сейчас он казался озабоченным и слегка смущенным.

Она еще бормотала приветствия, не отдышавшись после бега по ступенькам, но хирург перебил ее:

– Сестра, судя по значку на вашей куртке, вы состоите в каком-то историческом сообществе, верно?

– Да, – изумленно чирикнула Мэг.

– Давно?

– Одиннадцать лет.

– Прекрасно. Скажите, сестра, не припомните ли вы, что за последние... ммм... два года в вашей тусовке кто-то пропал? Исчез, никого не предупредив?

Мэг нахмурилась, подбираясь и чувствуя, как сердце стремительно заколотилось прямо в горле:

– Это по поводу вчерашнего пациента после ДТП? Он... он что...

– Он жив и относительно стабилен. Сорок минут назад пришел в себя. Загвоздка в том, что он отказывается говорить. Более того, он выглядит совершенно деморализованным. Я видел такое после терактов и крупных катастроф. Он чудовищно напуган, никого к себе не подпускает, не называет своего имени. Полиция пыталась установить личность по фото, сообщить родным. Но он не проходит ни по одной базе данных: ни совпадений среди заявленных в розыск, ни водительских прав. ДНК тоже нигде не фигурирует. Единственная зацепка –

его странный костюм. Позднее Средневековье. Я видел такие по телевизору на историческом фестивале "Корнуоллский лев".

Мэг покачала головой:

– Я там мало кого знаю. Наш клуб туда не ездит, участие в "Корнуоллском льве" очень дорогое.

Розен кивнул:

– Неважно. Сообщества ролевиков – это особый мир, и я не думаю, что он слишком обширен. Я попрошу вас пройти со мной к пациенту. Существует шанс, пусть и ничтожный, что вы его узнаете. Или же он – вас. В конце концов, клубы общаются в интернете. Вдруг вы видели его на аватаре или общей фотографии? В фотогалерее какого-нибудь события?

Мэг замялась. Горячая тревога за неизвестного собрата вдруг сменилась каким-то гадким чувством. Кто знает, что это за парень, и в чем он замешан... Судя по словам Розена, история там страшноватая. А вдруг, она и правда его узнает? Потом полиция, допросы, свидетельства... Боже упаси, мать узнает, что она втянута в какую-то паскудную историю с другим ролевиком... Она тут же спустит всех собак и не успокоится, пока "Рыцарей Вереска" не закроют ко всем чертям судебным постановлением.

Все эти мысли еще вертелись в голове, будто гнилые листья, затягиваемые в сточную канаву, когда Мэг откашлялась и пробубнила:

– Вы сказали, он в шоке. Вдруг я могу ему... навредить.

Розен молчал, глядя практикантке прямо в глаза. А потом сухо и зло отчеканил, раздельно вколачивая слова в тишину:

– Навредить? Боюсь, милочка, вы опоздали. Парню уже навредили, и весьма умело. Я не зря спросил о пропавших в последние два года. Его костюм – явный маскарад, однако он страшно изношен и чинен во многих местах. У пациента два застарелых перелома, сросшихся без квалифицированной медицинской помощи, максимум шина из обломка доски. Несколько трещин в ребрах. Следы свежих побоев, в том числе плетью. Множество воспаленных ожогов, которые выглядят очень странно. Признаки тяжелой физической работы и общее истощение. Я не знаю ни кто он сам, ни кто сделал это с ним, ни почему. Но этот парень был в аду, слышите? Он был там чертовски долго. И если вас сейчас больше тревожит собственная репутация... – Розен осекся и кивнул на значок Мэг, – боюсь, вы паршивый рыцарь, мисс Сольден.

Секунду Мэг стояла перед врачом. Губы мелко дрожали, лицо полыхало красными пятнами.

– Что с ним случилось? – прошептала она, чувствуя себя так, будто Розен отхлестал ее по щекам.

А лицо хирурга передернулось болезненной гримасой:

– Я не могу утверждать, сестра. Но у меня есть подозрение, что это было похищение, длительный плен и последующий обряд экзорцизма.

Мэг глубоко вдохнула – к горлу вдруг подступила желчь. Потом кивнула:

– Я пойду переоденусь.

...Десять минут спустя Мэг вслед за доктором Розеном вошла в палату реанимации, чувствуя, как сердце остервенело колотит в ребра.

На кровати, опутанный проводами, лежал худой молодой человек. Он медленно повернул голову на звук открывшейся двери, и прямо на Мэгги взглянули мутные глаза, полные большого ужаса. Врач и практикантка замерли в пяти шагах от кровати.

Не меньше двух минут протекли в тишине. Наконец Мэг облизнула губы и на трясущихся ногах сделала шаг вперед.

– Э... Здравствуй, рыцарь, – пробормотала она обычное приветствие членов чужого клуба.

Неизвестный не отвел глаз, а страх в них вдруг сменился недоумением. Еще через секунду он разомкнул потрескавшиеся губы и хрипло что-то прошелестел.

Розен растерянно моргнул:

– Мисс Сольден, – шепнул он, отступая к медсестре, – вы понимаете этот язык?

А Мэг обернулась к нему, отчего-то хмурясь, будто врач сыграл с ней дурацкую шутку:

– Нет... – обронила она, – то есть... да.

А потом снова шагнула вперед, нервно облизывая губы, и со старанием школьницы проговорила невнятную фразу, прозвучавшую для Розена, будто плохо расслышанная реплика со сцены.

Неизвестный молчал, глядя на Мэгги тревожно и вопросительно. А потом бросил на Розена короткий враждебный взгляд и снова перевел глаза на Мэгги, словно опасался говорить с нею при враче. На лбу его выступил пот, слегка побледнели губы, и один из аппаратов у кровати требовательно и настойчиво заверещал.

– Давление нестабильно, – пробормотал хирург, – выйдите, сестра. Хватит на сегодня.

Часть вторая

Исчадие рая

Розен снял очки, потер глаза и пробормотал что-то то ли на латыни, то ли матом. Дежурство закончилось уже час назад, и жена звонила напомнить, что к ужину придет его брат с семьей, а врач все сидел над этой невозможной историей болезни, снова и снова перечитывая заученные почти наизусть строчки и не находя ничего, совершенно ничего нового.

– Генри, массаж глазных яблок – это никуда не годная терапия, поверь старому мозгоправу, – донесся голос из полутьмы кабинета, а следом раздалось оглушительное чихание, – чертова весна... – гнусаво добавил тот же голос.

Розен поднял голову: в углу дивана, несолидно поджав ноги, сидел психиатр Томас Клоди по прозвищу Невидимка. Специалист с европейским именем, Клоди выглядел до нелепости по-мальчишески: был непоседлив и суетлив, носил круглые очки в стиле "Гарри Поттер", никакими средствами не мог пригладить торчащий на макушке вихор и жестко картавил, из-за чего на конференциях неизменно вызывал сдержанные смешки. А потому, дабы не ронять профессионального реноме своим несолидным видом, Клоди предпочитал "кабинетную карьеру".

Сейчас же он указал Розену на часы раскрытым блокнотом и выразительно поднял брови, становясь похожим на сову из старого мультфильма.

Хирург безнадежно покачал головой:

– Знаю, Том. Но я никогда еще не был в таком тупике.

Клоди отшвырнул блокнот, прошагал через весь кабинет и бесцеремонно уселся на край стола.

– Дружище, если бы ты чаще ходил пешком, то давно бы знал, что тупик – это отсутствие автомобильного проезда. Но никто не запрещает тебе вылезти из машины и обнаружить, что для пешехода все дороги открыты.

Розен сдвинул очки на кончик носа и мрачно посмотрел на коллегу:

– Том, – отрезал он, – я обожаю твои прекрасные метафоры, но сейчас или говори по-человечески, или выметайся к черту, мне не до психологических изысков.

– А зря, – невозмутимо отозвался психиатр, – потому что я предельно ясен. История болезни себя исчерпала, Генри. Все, что могут поведать анализы, ты уже знаешь. Теперь дело за самим пациентом. Это и есть наша единственная проблема. Он пережил нечто страшное и потому замкнулся и не идет на контакт ни с одним из нас. Посттравматическое стрессовое расстройство – это совершенно обычное и многократно описанное дело, и выход тут тоже самый простой. Доверие, Генри. Вот камень преткновения. Нам нужен не психиатр и не следователь. Нам нужен человек, которому он будет доверять. И у нас есть кандидатура, не так ли?

Розен швырнул ручку на стол:

– Еще чего! – рявкнул он, – Том, у меня впервые такой случай! Здесь нужен предельный профессионализм, а ты предлагаешь доверить пациента девице, которая и медсестрой-то никогда не будет? Да, не округляй глаза! Сольден – обычная зубрила. Я знаю этот сорт: отличные оценки, отличная теория и ни малейшей искры! Ей плевать на все это, понял? Она получит диплом и завтра забудет, куда его положила! Таким не место в медицине!

Клоди помолчал. Потом медленно снял очки, и его совиные глаза разом утратили свой комичный вид.

– Какие слова! – вкрадчиво проговорил он, – а осознаешь ли ты, мой принципиальный коллега, что, в сущности, это в моей песочнице ты сейчас так яростно размахиваешь лопаткой? Что такого необычного привнес в твою хирургическую практику этот пациент? Операция прошла блестяще, он совершенно стабилен, в положенный срок встанет на ноги и покинет твоё отделение. И, судя по его состоянию – ему прямая дорога в моё. А потому, Генри, позволь мне решать, кому место в медицине.

Хирург хмуро посмотрел вверх. Опустил глаза к медкарте, лежащей на столе.

– Но, Том, – в голосе его послышалась легкая растерянность, – я не могу просто так отпустить этого парня. Я должен разобраться. Посмотри – у него ни одной прививки, состав крови уникален: ни пестицидов, ни тяжелых металлов, ни консервантов, ни даже чертова глутамата натрия. Я не видел такого у обитателей самых отдаленных провинций. Даже у амишей и всей этой религиозной братии в крови водится хоть какая-то современная дрянь. А он будто пришелец из прошлого! Я уже не говорю о том, что он до смерти пугается, когда в палате включают электрический свет. И эти странные ожоги...

– Он пришелец из ада! – оборвал Клоди, – и ожог этот – скорее всего обыкновенное клеймо, которым в добрые былые времена метили каторжников! Парня пытали с виртуозным мастерством, а мы даже имени его не знаем! О нем нет ни единой записи в каком угодно ведомстве! Фото показали по всем каналам – никто его не узнал. Он фактически не существует! Где, Генри, где в наши дни можно всю жизнь прятать человека? А ведь мы не сможем держать его в больнице до бесконечности! Однажды его придется выписать. И куда он пойдет? Даже центры для бездомных требуют удостоверение личности. Генри, нам не до профессиональных амбиций и медицинских курьезов! Этот чудик в беде, и, если у меня есть хоть один шанс разобраться, как ему помочь – я привлеку кого угодно, хоть карманника с рыбного рынка!

Клоди осекся, вдруг осознав, что почти кричит, впечатывая худую ладонь в столешницу и сминая бумаги. Встав со стола, он добавил тихо и почти увещающе:

– Генри... Ты же видел его ноги. Он ушел оттуда босой, понимаешь? В марте. А вдруг он был там не один? Вдруг еще кто-то находится в такой же крошечной заднице, и ему просто меньше повезло? Позволь мне подключить мисс Сольден. Кстати, она сказала тебе, на каком языке он говорит?

– Да, – Розен закрыл медкарту и снова потер глаза, – на смеси гэльского и среднеанглийского. Он официально вышел из употребления в конце пятнадцатого века.

– Я понятия не имею, с чего начать, – Мэг стояла у двери палаты, держась за поднос с завтраком, будто за святые дары, – я смыслю в среднеанглийском на уровне старинных поэм и баллад. Полгода назад изучала средневековые свадебные песни – у нас в клубе двое ребят поженились, устраивали тематическую вечеринку. Но это было в библиотеке, я не отрывалась от компьютера. Там половина нормандских слов. А уж говорю я на нем наверняка так, что в средневековой школе меня бы насмерть заporоли розгами.

– Мисс Сольден, вы делаете поспешный вывод на основании единственной сказанной им фразы, – возразил Клоди, – на настоящем среднеанглийском уже давно никто не говорит. Парень явно жил в изоляции, оттуда и архаичный говор. Но это все равно английский. Да я и

не прошу брать у пациента интервью. Выясните, как его зовут, откуда он, выясните хоть что-то. Впрочем, даже если вы вообще ничего важного не узнаете – разговорите его, мисс Сольден. У меня вся надежда на вас. Вдобавок, ему наконец можно по-человечески поесть. После двух недель питания через трубку и жидкого бульона, это кому угодно вернет радость жизни.

В расширенных стеклами очков глазах Клоди плескалась мольба, сквозь которую проступал неистовый энтузиазм: Невидимка обожал редкие случаи и головоломки. Мэг невольно ощутила затлевшее раздражение. На человеке места живого нет, а этому картавому филину подавай научный парадокс...

Рыцари Вереска, хоть и были всего лишь клубом ролевиков, всегда исповедовали солидарность к собратьям по щиту и общее презрение к скептикам. А потому Мэг без колебаний перехватила поднос одной рукой и вошла в палату, оставляя психиатра в коридоре.

Пациент спал. Уже исчезли провода и трубки, аппарат Доплера молча таранился темным экраном, а к Мэг был обращен затылок, топорщащийся смятыми прядями выгоревших на солнце каштановых волос.

Пациента можно будить только ради приема необходимых препаратов или для важных процедур... Завтрак никак не входил в этот перечень, но Мэг уже знала, что прерывистое дыхание и чуть подрагивающие лицевые мышцы – это обычная дремота после обезболивающего. Поставив поднос на тумбочку, она раздумчиво склонилась к кровати.

Чего Клоди так неймется? Розен попросил практикантку опознать пациента, но Мэг честно ответила, что не знает этого парня. Она нарисовала слишком много лиц, чтоб забыть такое приметное, как это.

Как многие самоучки, она плохо умела самостоятельно придумывать образы, и те получались у нее приторно-красивыми. А потому Мэг питала слабость к своеобразным лицам и всегда жадно вглядывалась в них, пытаясь запомнить рисунок скул, линию губ или другую интересную особенность. Что же в этом изломанном горемыке показалось ей таким необычным? Черты лица, резковатые из-за худобы, вылеплены тонко и тщательно. Бабушка о таких говорит "хорошая порода". Густой загар со светлой полосой над высоким лбом – вероятно, он чем-то обвязывает голову от солнца. Волосы острижены неровно, будто их без затей собрали кулаком в хвост и обрезали у основания шеи. Застарелый рубец над левой бровью, многодневная щетина. И вроде ничего особенного...

"Я не рыцарь, простой сквайр". Вот все, что он ответил ей в прошлый раз. Ответил так естественно, словно она ошиблась палатой, и искомый рыцарь лежит дальше по коридору... Чего она так растерялась?

Мэг бесшумно опустилась на стул для посетителей. Кто же ты такой, сквайр? Она точно знала, что, приди она сама в сознание в больнице после аварии, она все равно назвалась бы студенткой медколледжа Маргарет Сольден, а вовсе не лучницей Гризельдой. А мама еще говорит, что она свихнулась на своем клубе... Это же как надо свихнуться, чтоб и на грани смерти оставаться "сквайром"?

Мэг ощутила прилив ностальгической тоски. Поспи еще, ладно? Потом ты проснешься, и все как-то встанет на свои места. Ты окажешься каким-нибудь прозаическим фермерским сыном, сбежавшим из своего захолустья в большой город и связавшимся с ролевиками, которых подкупил твой сельский выговор. А твой папаша, конечно, считает, что ты попал в дурную компанию, да к тому же не признает интернета и потому все еще не знает, что случилось с его непослушным отпрыском.

Поспи еще. Чтоб можно было еще немного посидеть рядом, воображая, что ты самый настоящий пришелец из прошлого, невесть как прошедший сквозь двери столетий и тут же попавший в беду в этом негостеприимном веке... Худой, мускулистый, дочерна загорелый, с квадратной челюстью и выцветающими у глаз лиловыми тенями от недавнего сотрясения

мозга. Безымянный псих, которому куда больше к лицу та потрепанная рубашка со шнуровкой, чем банальная футболка.

А псих вдруг вздохнул, поворачиваясь во сне, одеяло соскользнуло с груди, и Мэгги замерла. Так вот, о каких "странных ожогах" говорил доктор Розен... От плеча к локтю вертикальным рядом выстроились выжженные на коже буквы: "Эйнсли". Не цельное клеймо, как тавро фермы на бычьей шее. Не готовые инициалы, как имя владельца на щеке раба. Каждая буква состояла из отдельных заостренных черточек, будто ее выжигали раскаленным гвоздем. Долгая, кропотливая и чудовищно мучительная работа...

– О Боже... – пробормотала Мэг, разом забыв главное правило – никогда не высказывать страха или, того хуже, отвращения при виде чужих увечий.

В тишине палаты собственный голос показался ей неприлично-громким. Видимо, так оно и было, поскольку пациент коротко застонал, поворачивая голову. Солнечные лучи из окна за спиной Мэг скользнули по лицу, и неизвестный открыл глаза. Сощурился от яркого света, и девушка поняла, что он вглядывается в ее темный силуэт.

На сей раз Мэг сразу поняла, что ее поразило. Он был поддельно-молодым... Притворно-юным, будто актер-дебютант в возрастном гриме. Мальчишеское лицо с жесткой складкой у рта, морщинки в уголках усталых и совсем не мальчишеских глаз. Сейчас, уже не затянутые красноватой сеткой лопнувших сосудов, эти глаза были золотисто-зелеными, как виноград сорта Серсиль, и в них замерло ожидание, как если бы он все еще не получил ответа на какой-то давно заданный тревожный вопрос.

И Мэг ощутила, как ее снова захлестывает чувство тех самых минут, когда она, едва не плача, перебирала изорванные пожитки. Будто никто, кроме нее, не понимал до конца беды, приключившейся с ним, таким же странным, глупым чужаком, неприспособленным для мира без сахара...

А чужак с видимым усилием разомкнул губы и пробормотал по-гэльски:

– Где я?

Мэгги сглотнула, чувствуя, как лицо вспыхивает горячим румянцем волнения:

– В безопасности. Все хорошо.

Слова вдруг иссякли, испуганно затолпившись на языке, словно куры у двери сарая. Четыре года курсов гэльского, песен, легенд и болтовни на форумах разом вылетели из головы, оставив лишь деревянные фразы для начинающих.

А он отвел глаза, обводя стены палаты потерянными взглагом, и снова посмотрел на медсестру:

– Я мертв?

Мэгги моргнула. Спутала слово? Не расслышала? Но переспрашивать было неловко, и она торопливо пояснила:

– Ну что ты... Это больница. Госпиталь. С тобой случилось несчастье, но ты поправился.

Пациент долго молчал, глядя перед собой. Потом медленно облизнул губы:

– Вы уже все знаете?

Мэгги ощутила, как мелко закололо кончики пальцев, и она подалась ближе, чтоб не упустить ни слова:

– О чем?

– Обо мне. О моем преступлении.

Мэг замерла. Этот шаткий разговор, на который Клоди возлагал такие надежды, вдруг накренился в совсем не предвиденную сторону. Может, просто бред? Иносказание? Но практикантка уже видела достаточно людей, отходящих от наркоза или жара, и умела отличать интонации медикаментозной чепухи от осмысленных слов. И пациент только что совершенно отчетливо назвал себя преступником...

Чушь. О любом преступлении, произошедшем в окрестностях Плимута, уже сто раз передали бы во всех новостях, а этого горемыку даже в полиции не смогли опознать...

– Мы ничего о тебе не знаем, – мягко ответила она, старательно подбирая слова, – и здесь нас занимают не твои грехи, а только твои раны.

Незнакомец снова надолго умолк, и Мэг уже казалось, что он опять погрузился в зыбкую дремоту, когда к ней обратились усталые зеленые глаза:

– Все эти дни я слышал какой-то звук. Словно сверчок стрекотал. А вчера он затих.

А вот это был английский... Старомодно-певучий, будто текст из водевиля. Почти смешной и почти понятный...

– Это билось твое сердце. А мы слушали, ровно ли оно бьется.

– Зачем?

Любой ребенок, хоть раз смотревший сериал о врачах, знал, для чего прослушивается сердечный ритм, но Мэг ответила совершенно серьезно:

– Люди порой умирают прямо во сне. И единственный способ их спасти – это вовремя услышать, что сердце сбилось со своего шага.

Незнакомец вдруг едва заметно улыбнулся уголками губ. Приподнял правую руку, глядя на торчащий выше запястья катетер для капельницы:

– Бабочка, – пробормотал он, – бабочка на булавке...

Это прозвучало бессмысленно, но Мэг отчего-то совершенно отчетливо увидела со стороны белоснежную палату, посреди которой одиноко лежал человек с иглой в руке. И правда, будто бабочка в блокноте коллекционера...

Ее саму вдруг охватило зябкое чувство, будто кто-то любопытный рассматривал их обоих, таких отчетливо-живых и незащищенных на белом листе, сквозь гигантское увеличительное стекло. Даже заливающие палату лучи солнца, приглушенные жалюзи, на миг будто собрались в пучок, готовые выжечь в неуютной белизне круглую черную кляксу.

Мэг встряхнула головой, сбрасывая морок и едва не смахнув заодно сестринскую шапочку. Хватит метафор, она пришла вовсе не за этим. С нарочитой деловитостью поправив на пациенте одеяло, она ободряюще кивнула:

– Меня зовут Мэгги. Я заходила к тебе на днях, помнишь меня?

И вдруг осеклась, испугавшись, что снова наткнется на тот недоуменно-враждебный взгляд. Но незнакомец секунду смотрел на нее, а потом медленно кивнул. Чуть приободренная, Мэг откашлялась и добавила:

– А как зовут тебя?

Пациент не ответил, а Мэг заметила, как едва уловимым движением сжались губы. Не хочет говорить?

подавив секундную досаду, Мэг покачала головой:

– Да не упрямысь. Я просто принесла тебе завтрак. Мне надо как-то тебя называть.

В глазах пациента мелькнуло замешательство, словно он спешно пытался понять, как вести себя дальше. А Мэг шагнула ближе, словно к крупному и опасному псу, на миг спрятавшему клыки. Не отрывая взгляда от медсестры, незнакомец вжался в подушку, и губы его нервно дернулись. Мэгги же кивнула на ожоги:

– Это твое имя?

Пациент секунду помолчал и односложно отозвался:

– Нет.

Мэг вдохнула, отчего-то чувствуя себя неловко, словно ляпнула исключительную глупость. Курица... Это же следы пыток. Да еще имя какое-то нелепое... девчоночье.

Практикантка Сольден еще додумывала эти бестолковые обрывки мыслей, ища правильные слова для начала разговора и помня, что на нее надеется доктор Клоди. Лучница же Гризельда уже отбросила колебания. Она сама отнесла в хранилище рубашку со шнуровкой у

ворота и куртку со швами ручного шитья. А значит, кем бы ни был этот парень с нелепым именем на руке, он все равно был из ее племени, и не нужно было никаких "правильных" слов.

– Из какого ты клана? – напрямик спросила она. Он назвал себя "сквайром", а такой титул был лишь в очень больших сообществах.

Но незнакомец только снова покачал головой, глядя на нее со смесью тревоги и ожидания.

Мэг досадливо закусил губу. Этот зеленоглазый псих словно вовсе не имел той самой, "обессахаренной" жизни. Он замер в своей роли, будто пчела в застывшем желе, не находя выхода в реальный мир. Амнезия?.. Или он плохо ее понимает? Или вообще сознательно притворяется?

Еще секунду подумав, она бесцеремонно села на край больничной кровати:

– Ладно, не бери в голову. Я буду называть тебя просто Сквайром. Послушай... Тебе трудно пришлось, я знаю. Но все позади, честное слово. Раны заживут, кости срастутся, память вернется. Я не стану тебе врать. Только не тебе. Я ведь такая же, как ты. Ты только скажи, ты понимаешь меня?

Зеленоглазый псих бегло взглянул на дверь, будто опасаясь, что его подслушивают, и ответил:

– Тот человек в белом назвал тебя "сестрой". Ты не похожа на монахиню.

– Я сестра милосердия. Для этого необязателен монашеский сан.

А Сквайр вдруг снова украдкой натянул одеяло выше, прикрывая полуобнаженный торс, и Мэг с удивлением сообразила, что он смущен.

Пытаясь заполнить неловкую паузу, она встала и взяла с тумбочки забытый было поднос, устроявая его на откидных ножках перед своим странным пациентом.

– Вот, попробуй. Не такие уж деликатесы, но уж всяко лучше раствора Рингера и глюкозы в вену.

Однако Сквайр посмотрел на еду и перевел на Мэг растерянный взгляд:

– Это все для меня? Зачем столько?

Мэг недоуменно оглядела поднос: обезжиренный йогурт, булочка, похожая на упитанного хомяка с коричневой спинкой, несколько ломтиков сыра, джем, слабый чай... Она сама после подобного завтрака проголодалась бы еще по пути в колледж.

– Тебе нужно хорошо питаться, ты потерял уйму крови, – сказала она, пряча свое замешательство за назидательным тоном. А Сквайр взял в руки булочку, бережно, будто спящего зверька:

– Какой белый хлеб, – приглушенно заметил он, – у нас такого не пекли...

Очень медленно, очень внимательно он рассмотрел все, что лежало на подносе. Двумя пальцами поднял пластмассовую ложечку и торопливо положил обратно. Развернул салфетку, задумчиво глядя на фамилию фабриканта в уголке. А потом решительно отодвинул поднос здоровой рукой:

– У меня нет денег, – отрезал он, – и рука пока не действует. Я не сразу смогу отработать еду.

Мэгги моргнула. Затем придвинула поднос обратно и спокойно пояснила:

– За это не надо платить. Здесь больница. И помощь здесь оказывают всем, даже тем, кто работать не сможет уже никогда.

Сквайр вскинул настороженный взгляд:

– Но кто-то же все равно должен за это заплатить. Платить нужно за все.

Мэг мысленно выругалась: она никогда всерьез не интересовалась, кто заботится о таких бедолагах. Но Сквайр ждал ответа, не прикасаясь к еде, и она пожала плечами:

– Ну... за это платит правительство. Королева, если угодно.

А лицо психа вдруг исказилось гримасой омерзения, и глаза полыхнули такой ненавистью, что Мэг отшатнулась назад. Сквайр же с неподдельной гадливостью оттолкнул поднос и отрезал:

– Я не ем из рук этой мрази. Лучше с голоду схохну.

Мэг ошеломленно посмотрела на еду:

– погоди. Все это готовят просто на больничной кухне. Какая разница, за чей счет?

– Мне ничего не нужно от королевских щедрот, – лицо Сквайра передернулось так, будто на подносе гнил червивый кусок падали, – убери это, сестра Мэг, слышишь? Не доводи до греха.

Маргарет закатила глаза – пуще всего в этой ненавистной работе ее всегда раздражали капризы пациентов, и сейчас вспыхнувшая злость вытеснила всякое сочувствие:

– Прекрати выдрючиваться, – огрызнулась она, – королеве мало дела, кому достался чертов больничный завтрак, и что думает лично о ней какой-то неблагодарный сквайр! Принципами шеголять изволишь? – она не заметила, как сбилась на привычный говор своего клуба, – легко, знаешь ли, в мученика рядиться на стерильных простынях и с полной башкой обезболивающих! Посмотрел бы ты, каким тебя сюда привезли! Хочешь на ноги встать – ешь без разговоров!

– Каких еще обез...боливающих? – перебил псих, а Мэг кивнула на катетер для капельницы:

– Вот. По этим иглам в тебя за последние дни влили столько снадобий, что хоть аптеку открывай. У тебя шесть переломов, приятель. Из них два таких, что ты от боли рехнулся бы.

Сквайр снова посмотрел на катетер. Повисла тишина, и Мэг уже успела было ужаснуться своему срыву, на который пациент непременно пожалуется начальству, как псих вдруг выдернул иглу и с размаху всадил ее себе в ладонь.

Подавившись криком, Мэг ринулась к ненормальному, перехватывая за раненую руку. А Сквайр почти издевательским движением положил палец на головку иглы и вскинул глаза:

– Сейчас я загоню ее внутрь, пока не выйдет с обратной стороны, – спокойно, почти предвкушающе пояснил он. Мэг беспомощно держалась за его запястье, неожиданно горячее и упругое, чувствуя, что не сможет его остановить. Придурок... А она так пыталась поддержать его...

– Зачем ты так? – проговорила она, чувствуя себя очень глупой и очень обиженной, – о тебе столько людей заботится! Я извелась вся, пока тебя оперировали. А ты назло делаешь. Как дитя, ей-Богу... Прыгну из окна, чтоб мама плакала.

А псих посмотрел на ее пальцы, сжимающие его руку, покачал головой, и в этом движении Мэг померещилось сожаление:

– Да не делаю я назло, – с неожиданной мягкостью ответил он, – просто знаю я королевскую заботу, дурака-то из меня не лепи. Господи, сестра, ты сама совсем дитя. Кто тебя пустил к такому, как я? Да еще зная, что у меня есть здоровая рука.

Это прозвучало страшно. Так страшно, что Мэг даже забыла, что прямо за дверью в нескольких шагах сестринский пост. Резко разжав пальцы, она подавила порыв отшатнуться назад: нельзя показывать страх... Только вспомнить бы, касается это правило сумасшедших людей или бешеных собак?

Медленно выпрямившись, Мэг постаралась придать голосу твердости:

– Не надо мне угрожать. Нашел тоже врага... У меня всего-то оружия – этот поднос. И я понятия не имею, почему к тебе нельзя ходить – ты же не говоришь, кто ты. Скажи – и я буду осторожней.

И тут он улыбнулся. Скупое и искреннее, обнажая слегка неровные, очень белые зубы. Хладнокровно вынул из ладони иглу, обозрел натекшую с капельницы лужу на одеяле и вздохнул:

– Прости, сестра Мэгги. И за доброту благодарствуй. Только ты меня слушать не стала. Болью пугаешь, едой попрекаешь... Я из себя героя не строю – было бы, чем гордиться. А только все это я уже видел. И совиные лапы варил, и со сломанными ребрами дрова колол, и грехи ночами отмаливал. Так что не трудись, сестра. Ничего я не скажу, зря провозитесь. От меня на каторге будет толк, это уж на слово поверь, руки у меня на совесть приспособлены. А можете сразу на плаху класть, так им и передай. А еда эта всегда кому-то пригодится, и на меня ее переводить без толку. С меня и тюремной похлебки хватит.

И вдруг Мэг отчетливо поняла: сумасшедший или нет, но это не ролевик. Она сто раз слышала эти клятвы верности и предсмертные насмешки, слышала на шести разных языках, от ошалевших от недосыпа подростков и пьяных седых реконструкторов. А сейчас впервые точно узнала, как в действительности звучат эти слова. Вот так. Устало и обыденно, без чувства, без огня. Когда человек действительно подразумевает то, что говорит, ни в ком не ища отклика. Невидимая и нерушимая грань между жизнью и игрой.

Она спокойно взяла с тумбочки поднос и снова поставила пациенту на колени:

– Послушай, – сказала она, отбросив иронию, – каторга подождет, ладно? И на плаху не спеши, туда не так-то легко пробиться в наши дни. А это просто еда. Не очень сытная, да и повкуснее бывает. Это не подкуп и не милость. Это самое первое и главное человеческое право. Которого никто и никого не смеет лишать. А потому в больнице досыта едят все. И я прошу тебя просто поесть. Обещаю, что не буду спрашивать ничего, о чем ты сам не захочешь сказать. Идет?

С минуту Сквайр смотрел на поднос с упрямым огоньком в глазах, постепенно сменявшимся тоскливым раздумьем. Затем, колебавшись, потянулся за сыром. Взял кончиками пальцев, будто бледно-желтый ломтик вот-вот мог выпустить ядовитые когти, и осторожно откусил краешек. Его лицо вдруг приобрело беззащитно-упоенное выражение ребенка, открывшего рождественский подарок.

– Вкусно? – Мэг ощутила, что глупо улыбается.

– Очень, – пробормотал Сквайр.

И Мэг забыла о времени. Это был завтрак в Зазеркалье, и она, будто зачарованный Кролик, вела своего спутника меж чашек, сахарниц и грибов. Она не понимала, почему его так поражают все эти простые вещи, да и не хотела понимать. Она смотрела на привычные с самого рождения мелочи, будто впервые, и ей хотелось, чтоб они нравились ему, словно этот трогательный псих был ее гостем. И вообще, если по-честному, то любимый Эмили обезжиренный йогурт – диетическая дрянь, клубничный джем вкуснее персикового, а сыра могли бы положить и побольше.

Он был странным... Совершенно нелепым, будто вынырнувшим из какой-то старой книги и так и не заметившим, как обложка захлопнулась за спиной, оставив его снаружи.

Его привела в ужас сломавшаяся пластиковая ложечка. Он украдкой ловил солнечных зайчиков крышечкой из фольги, снятой с джема. Он недоуменно повертел в руках пакетик с сахаром и спросил, зачем сахар завернули в бумагу – это же безумно дорого. Он говорил языком старинных считалок и воскресных молитв, подчас вклинивая отрывисто-напевные и не всегда понятные Мэг гэльские фразы.

И она объясняла, рассказывала и растолковывала, не испытывая ни тени жалости или отторжения к этому невообразимому, явно ненормальному парню. Она с комом в горле играла в дурацкую машину времени, упиваясь ею и все дальше заметая под ковер здравого смысла предстоящее объяснение с Клоди...

А еще Мэг впервые поняла, как выглядит голод. Не тот, который в Йемене и Сомали. Не тот, который по телевизору. Голод простой и привычный, такой же обыденный, как рассвет и закат. Так тщательно Сквайр собрал все крошки от булочки до последней, так дотошно скреб ложкой стаканчик от йогурта. И уже понятными казались костлявые плечи, и руки, обви-

тые сухими мускулами, будто виноградной лозой, и мощная нижняя челюсть, как из учебника антропологии, где на жутковато-ненатуральных рисунках были изображены обнаженные челюстные кости в обертке мандибулярных мышц. "Скудная грубая пища способствует развитию..." и как там дальше. Где же ты рос, пришелец из ада? Где голодал и терпел побои? Где работал до жестких мозолей и вздутых на руках вен? Где страдал до этого опустошенного взгляда, до бесстрашия перед каторгой и готовности к казни, будто к неприятной медицинской процедуре?

А Сквайр бережно отодвинул нетронутую салфетку и едва заметно нахмурился:

– Благодарствую, – сказал он, глядя вниз, и Мэг показалось, что он чем-то задет.

– Никогда не думал, что окажусь в странноприимном доме, – будто отозвался он на ее мысли.

– Здесь не богадельня, – возразила Мэг, вдруг обидевшись за ненавистную клинику, – и принимать помощь не стыдно!

Сквайр помолчал, только на челюстях дрогнули желваки. А потом резковато спросил:

– Ты сказала про лекарства. На меня действительно извели так много?

Мэгги едва удержалась, чтоб снова не закатить глаза. Мужчины...

– Сколько надо. От боли, от лихорадки, антибиотики...

– От боли? – перебил Сквайр, – от боли даже суслики не мрут!

Мэг осеклась, с трудом подавляя раздражение:

– Есть боль, от которой помрет хоть бык, – отсекла она.

Но пациент с отвращением оглядел повязки:

– Христос не то вытерпел, и никто снадобий ему не предлагал. Больше не переводите на меня никаких лекарств. Сейчас весна, будет много больных детей.

Маргарет откашлялась, примирительно поясняя:

– Весна – не война, лекарств хватит и еще на лето останется. А у тебя разрывы связок.

Он лишь нетерпеливо покачал головой, будто изломанное грузовиком тело было чем-то вроде велосипеда, который и так давно пора заменить. Потом покусал губы и осторожно проговорил:

– Ты сказала, что ты... такая же, как я.

Мэг нервно сглотнула. Она вдруг ощутила, что заигралась в свою машину времени, и сейчас уже не понимает, что он имеет в виду. Но он ждал ответа, и она не отвела глаз, решив играть до конца:

– Да, – совершенно искренне отозвалась она, – я как ты.

Он медленно кивнул, и Мэг снова заметила, что его глаза удивительно стары для его лица.

– Кто тебя сюда отправил? – вдруг мягко спросил он, будто минуту назад не препирался из-за лекарств, как подросток, уставший от родительской опеки.

– Мать. Я не слишком оправдала ее надежды, – Мэг уже не анализировала его слова, бездумно отвечая то, что казалось ей сейчас правдой, – вот, учусь теперь, почем фунт лиха.

– Тебе здесь очень плохо?

Мэг онемела. Он всерьез спросил? Вот этот парень, у которого трещины в ребрах, спицы в ноге, следы плетей и клеймо на плече... Он спросил медсестру, плохо ли ей в больнице? Дурацкие слезы отчего-то наполнили глаза, ресницы отяжелели, пытаясь удержать рвущуюся прочь влагу. Она бегло обмахнула их и пожала плечами:

– Да, здесь несладко. Но это не навсегда. Да и мама... она же как лучше хочет.

Эти слова сорвались сами собой, и Мэг точно знала, что еще минуту назад она скорее проглотила бы паука, чем сказала бы нечто подобное.

А Сквайр снова улыбнулся.

– Понимаю. У меня тоже батюшка был строг.

Так было не надо ... Мэг поняла свою оплошность всего спустя несколько секунд, но было поздно. Слишком легко, слишком обыденно он произнес эти простые слова, и она вспыхнула дурацким ликованием, словно ребенок, вдруг нашедший потерянный бабушкой наперсток и теперь ожидающий похвалы.

– Так у тебя все же есть семья! Так что ж ты молчал? Господи, они же с ума сходят!..

Она не договорила, до крови прикусывая язык и холодея. А лицо Сквайра вдруг погасло, выцвело, будто черно-белое фото.

Ох, дура! Она же обещала не задавать вопросов. "Болью пугаешь, едой попрекаешь... Все это я уже видел... Ничего я не скажу". Так вот, чего он боялся больше всего – расспросов о семье! И, быть может, все эти ужасные следы – это и есть корень преступления, о котором он упомянул с таким бесстрастным фатализмом...

А Сквайр все молчал. Долгим, вязким, липким молчанием, будто брезгливо держал на весу изгаженную чем-то руку.

– Больше никаких лекарств, – отсек он наконец, – на все воля Божья.

И отвернулся к стене.

...Клоди ждал ее у лестницы. Сутулый, взлохмаченный, без пиджака – он походил на студента-перестарка. Увидев Мэг, он ринулся к ней, срывая очки и снова суетливо устроявая их на носу:

– Мисс Сольден! Ну, что-нибудь получилось?

Мэг остановилась на нижней ступеньке. А он что-то настойчиво спрашивал, то снимая, то надевая очки, и его голубовато-серые глаза казались беззащитно-юными и растерянными на немолодом усталом лице. И отчего-то захотелось ответить ему что-то хорошее и обнадеживающее...

– Я немного поговорила с ним, – Мэг сглотнула досаду, придавая голосу фальшивой деловитости, с какой взрослые обычно лгут детям, – но он плохо меня понимает. Толковал что-то, что у него нет денег на лечение, еле утешила. Впрочем, позавтракать согласился...

Она запнулась, уже готовая что-то наскоро соврать, лишь бы психиатр оставил ее в покое, как вдруг выпалила:

– Доктор Клоди. А можно, я приду к нему еще?

В ответ врач лишь воздел руки с зажатыми очками:

– Милая вы моя сестра Сольден! Вы выглядите такой обескураженной, что я уже готов был услышать категорический отказ еще хоть раз участвовать в моих затеях! Мне даже немного жаль, что вам нет нужды слушать речь, которую я приготовил для вашего переубеждения. Ручаюсь, она так хороша, что я подумываю положить ее на музыку!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.